

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ XVIII—XIX вв.

Статья С. Макашина

В истории развития европейской культуры Франции принадлежит особая роль. Она оказала наиболее глубокое и длительное культурное воздействие почти на все другие страны Запада. На протяжении столетий (за исключением эпохи Ренессанса, когда первенствовали итальянские культурные влияния) Франция была подлинной культурной метрополией Европы, Париж—признанной столицей европейского мира, французский язык—единственным могущим претендовать на положение международного.

В числе других европейских стран, Россия многое взяла от великой культуры французского народа и тесно связана с ней. В то же время русский народ выработал свои самобытные культурные ценности мирового значения и щедро вернул свой долг Франции. Длительные и плодотворные общения русской и французской мысли на протяжении последних двух столетий образуют одну из наиболее содержательных глав в истории международного культурного сотрудничества нового времени. Нам предстоит ознакомиться с основным содержанием двухвековой истории взаимоотношений русской и французской литератур и наметить главные этапы этого длительного культурного общения.

---

Сильнее, безраздельнее всего культурное значение Франции сказалось в европейской жизни на рубеже XVII—XVIII вв. «В начале XVIII столетия французская литература обладала Европою,—писал Пушкин.— Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние»<sup>1</sup>. Это было обусловлено рядом причин.

На протяжении XVII столетия Франция создает великую по своей общественной значимости литературно-художественную культуру; целое «созвездие гениев» (Пушкин) представляет ее—Корнель, Паскаль, Боссюэт и Фенелон, Буало, Расин, Мольер и Лафонтен. Культура эта опирается на сильную централизованную государственность, на социальное господство дворянства, утратившего былую феодальную независимость, но сохранившего свои сословные привилегии, на существование политически еще бесправной, но экономически уже крепкой буржуазии, весьма активно участвующей в идеологической жизни страны. Наличие развитых буржуазных элементов во французской культуре времени Людовика XIV и кардинала Ришельё определило ее более прогрессивный, передовой характер по сравнению с большинством других стран континентальной Европы, где все еще господствовали феодальные отношения. А то обстоятельство, что культура эта в известной мере была еще

феодалной, облегчало усвоение ее аристократическим обществом всей остальной Европы, в том числе, разумеется, и России<sup>2</sup>.

В силу этих же причин, экономически более развитые и передовые страны той эпохи—Голландия и Англия—не могли, однако, соперничать с полуфеодалной Францией в отношении международного размаха и силы ее культурных влияний. И в Голландии—«образцовой капиталистической стране XVII века», и в Англии, установившей господство буржуазной олигархии из земледельцев, купцов и банкиров, новая буржуазная культура развивалась в таких односторонних формах и в среде настолько еще чуждой социальному строю остальной Европы, что ни та, ни другая не могли иметь решающего международного влияния. Франция одна была достаточно передовой, чтобы импонировать другим странам, и еще достаточно дворянско-монархической, чтобы быть им понятной и доступной.

Таковы были исторические причины, определявшие для рубежа XVII—XVIII вв. культурное первенство Франции в Европе.

Для России это была эпоха, когда имевшие уже большую давность процессы экономического развития, стихийно вовлекавшие хозяйственно и культурно отсталую страну в орбиту европейского исторического движения, получили в преобразовательной деятельности Петра I государственное признание и мощный толчок для своего дальнейшего роста. Прорубив для России «окно в Европу», Петр I, «не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»<sup>3</sup> византийско-феодалной Руси, начал энергично европеизировать весь государственный строй страны, что, в свою очередь, неизбежно влекло за собой европеизацию всех сторон культурной жизни, в том числе и литературы.

Однако, политические задачи требовали на первых порах от русских людей, приобщавшихся к европейской образованности, не столько усвоения каких-либо общих идей, которые были созданы Францией, сколько овладения техническими познаниями и навыками в различных областях практической деятельности. По выражению Пушкина, «Россия вошла в Европу как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек»; войны и пафос государственной и хозяйственной стройки определили своеобразие петровского западничества—взгляд на просвещение, в первую очередь, с точки зрения его непосредственной, практической пользы, установку на освоение передовой западной техники, что, в свою очередь, обусловило и характер преимущественных иностранных воздействий в это время. Преобладают влияния буржуазной Голландии и Англии. К этим странам тяготеют и личные симпатии Петра, туда он направляет дворянскую молодежь для изучения «навигацкой науки», инженерного искусства, военного дела и т. п. Наоборот, усвоение господствующей в монархической Европе культуры дворянской Франции происходит с трудом и очень медленно. Утонченный светский лоск парижско-версальского придворного быта был еще совершенно не к лицу «жантильомам российской Европии», только-что, по царскому приказу, сбритым «московские» бороды и с трудом осиливавшим науку «политеса» на голландско-немецких ассамблеях Петра. Идеи французской литературы, образованности, государственности «великого века» были еще мало доступны умственному кругозору российского дворянства, а внедрение этих идей в русскую почву осложнялось неразвитостью литературного языка, который с большим трудом мог вложить в свои архаические церковно-славянские формы новое творчество французов XVII в. Тем не менее, некото-

рые литературно-идеологические заимствования из Франции имеют место и в это время. Укажем хотя бы на интересный, но вовсе еще не изученный факт зарождения в петровское время довольно интенсивного русского интереса к творчеству дворянского социального утописта Фенелона, этого крупнейшего представителя французской оппозиционной литературы на рубеже XVII и XVIII вв. Первые из многочисленных русских переводов его «Похождений Телемака» относятся ко времени Петра, который, кстати сказать, и сам проявлял интерес к этому роману. Интерес к Фенелону сохранялся в нашей литературе на протяжении всего XVIII в. и, через Третьяковского, Державина, Фонвизина, Радищева, Карамзина, дошел и до Пушкина<sup>4</sup>.

Дворянская реакция, сменившая «буржуазную» политику царствования Петра I, в сильнейшей степени содействует обращению российского дворянства, или, по терминологии эпохи, «шляхетства», к монархической Франции. Как это обычно бывает в подобных случаях, изменениям подвергается, прежде всего, внешность; дворянско-монархическая культура Франции воздействует прежде и осязательнее всего своей бытовой стороной; в царствование Анны Иоанновны делаются уже первые организованные усилия привить французские культурные формы «высшим» слоям дворянского общества. Важным этапом здесь явилось основание Шляхетного кадетского корпуса (1732), призванного быть первым рассадником русских дворян европейской формации. Но только при Елизавете, когда представители интересов дворянской массы оказались непосредственно у власти и когда русское дворянство в целом располагало уже своей культурной силой—интеллигенцией, началось сознательное усвоение французской культуры. Но и теперь процесс этот не мог пройти безболезненно. Непрекращающийся приток новых людей из среднего, провинциального, глухого шляхетства в высшие слои знати постоянно поддерживал «национально-самобытные» черты в высшем вельможестве и способствовал сохранению в нем элементов старой, феодальной культуры допетровской Руси. Даже в конце XVIII в. (весной 1785 г.) гр. Сегюр, французский посол при петербургском дворе, застал в нем немало лиц, «принадлежавших скорее времени московских бояр, чем царствованию Екатерины»<sup>5</sup>.

Тем не менее, именно в это царствование происходит постепенно то приобщение русского дворянства к французской культуре и нравам, которое достигло апогея в первую половину царствования Александра I; что так классически изобразил в «Войне и мире» Толстой. Выше этого бытовая и языковая «галломания» дворянского общества в России уже не поднималась, но традиции ее сохранялись долго, и еще во второй половине XIX в. умение говорить по-французски было необходимым признаком принадлежности к «хорошему обществу».

Традиционное мнение о пленении русского дворянства второй половины XVIII—первого десятилетия XIX вв. французской культурой верно лишь в разрезе его внешнего быта. Действительно, из всех проявлений французской дворянско-монархической культуры наибольшее влияние на Россию (как и в остальной Европе) оказали правила великосветского общежития с их всеобъемлющим кодексом поведения. Но, разумеется, этим далеко не ограничился процесс культурного воздействия Франции на Россию. Усвоение бытовых форм придворно-монархической Франции и, особенно, французского языка являлось для русского дворянства одновременно и средством своего классового утверждения и начальным

этапом усвоения французской культуры в ее высших—политических, юридических, философских и художественных—проявлениях.

Этот сложный процесс отнюдь не сводился к простому заимствованию чужого. Силы исторического развития, втягивавшие отсталую Россию в орбиту экономического и культурного развития Запада, были огромны. Процессы петровской культурной реформы, ломавшей вековые устои феодальной московской Руси, происходили, в силу ряда причин, с исключительной интенсивностью, быстротой и, одновременно, неравномерностью. Россия проходила те же стадии социально-экономического развития, что и страны Запада, но шла с опозданием, в окружении высокоразвитой культуры других европейских стран. Отсюда необычайная «сомкнутость» этапов культурно-исторической жизни нашей страны и стремительность в прохождении Россией стадий европейской цивилизации. Отсюда же внутреннее сходство ряда самостоятельных литературных процессов и идейных тенденций, возникавших на русской почве, с теми, которые имели место на Западе,—сходство, которое и делало возможным внешние заимствования. Отсюда, наконец, крайняя пестрота этих заимствований в русской литературе XVIII в., в частности, сосуществование в ней различных по времени элементов французской культуры XVII—XVIII вв. и новые своеобразные соотношения этих элементов.

Наиболее широко была использована в русской литературе XVIII в. художественная система французского классицизма, господствовавшая тогда в литературе всей монархической Европы. Однако, в то время, когда в России начиналось ознакомление с этим литературным стилем абсолютистского государства, уже зародилась и росла новая Франция—Франция буржуазного просвещения, подготовившая 1789 год.

Представители старшего поколения французских просветителей—Монтескьё и Вольтер не порывают еще с придворно-дворянской культурой,—они завоевывают ее изнутри и преобразовывают для своих целей. Только на последнем своем этапе демократическо-плебейская часть просветителей, во главе с Руссо и Дидро, решительно разрывает с придворно-монархическим наследием XVII в. На первом же этапе деятели просвещения еще стоят на страже придворно-дворянской эстетики, хотя Монтескьё приемлет уже не столько Расина или Корнеля, сколько Кребийона-старшего, а Вольтер в «Заире» уже сближает классическую трагедию с мещанской драмой.

Дворянско-монархическая оболочка французской литературы XVIII в., уже в значительной степени буржуазной по своей идеологической сущности, в сильнейшей степени способствует усвоению этой культуры на русской почве, и в Россию французская поэзия почти с самого начала приходит, уже насыщенная элементами просвещения. Только молодой Тредиаковский, выученик Сорбонны, вернувшись из Парижа, переводит в 1730 г. галантно-аллегорический роман Поля Тальмана «Путешествие на остров любви» и тем самым культивирует еще чисто придворные формы французской литературы XVII в. Но в том же году Кантемир уже переводит «Разговор о множестве миров» Фонтенеля—самого блестящего популяризатора научных и антирелигиозных идей в подготовительный период французского просвещения<sup>6</sup>, а несколько позднее осуществляет не дошедший до нас перевод «Персидских писем» Монтескьё—произведения, столь своеобразно сочетавшего просветительскую критику абсолютистской монархии Людовика XIV с идеологией феодально-аристократической «фронды».

В качестве дипломата Кантемир долго жил в Лондоне и Париже, он общался там с деятелями раннего французского просвещения, дружил с Фонтенелем, Монтескьё и Мопертюи, переписывался по вопросам истории с Вольтером, изучал философию Декарта и политические сочинения Боссюэта, пристально следил за французской поэзией и даже сам пытался участвовать в ней<sup>7</sup>. А его салон в Париже знакомил литературную Францию с мало известной тогда молодой русской литературой. Французская культура, несмотря на критическое отношение Кантемира к некоторым ее сторонам, несмотря на осложняющее наличие сильных английских и итальянских влияний, наложила глубокий отпечаток на его мировоззрение и помогла ему стать в уровень с крупнейшими деятелями европейской образованности. Но практически культуру эту он воспринимал с точки зрения русского просвещенного дворянина, т. е. все же в достаточной мере ограничено. «Дорогое Кантемиру западное просвещение,—замечает Плеханов,—не заронило в его душу ни тени сомнения относительно правомерности крепостной зависимости крестьян. Зависимость эта представлялась ему чем-то вполне естественным»<sup>8</sup>.

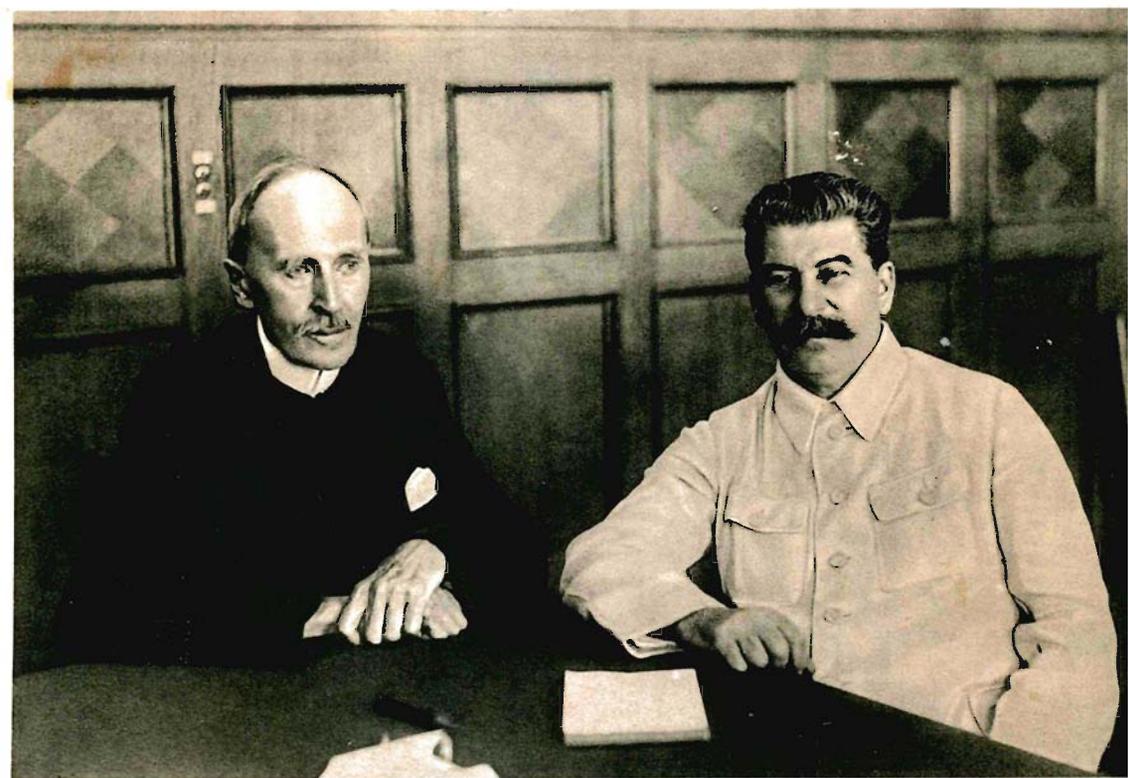
Как писатель, Кантемир испытал на себе сильное воздействие французского и итальянского классицизма. Своими сатирами он первый насаждает этот стиль на русской почве, и Пушкин недаром именно «со времен Кантемира» намеревался проследить историю влияния «французской словесности на русскую литературу»<sup>9</sup>. Кантемир сам указал нам своих учителей. В предисловии к первой сатире «На хулящих учение» он признавался: «Я в сочинении своих [сатир] наипаче Горацию и Буало, французу, последовал, от которых много занял, к нашим обычаям присвоив».

Каким именно образом Кантемир делал это, показывает Плеханов на материале сравнения пятой кантемировой сатиры с восьмой сатирой Буало, в подражание которой она была написана: «Произведение Буало,—говорит Плеханов,—несравненно выше произведения Кантемира в смысле формы. Но при этом оно беднее перед его конкретным, прямо из жизни взятым содержанием»<sup>10</sup>. Таким образом, пример Кантемира, которого Белинский и Чернышевский считали основоположником «сатирического направления» в русской литературе восемнадцатого века, показывает, что ранние русские «просветители», несмотря на свое откровенное «ученичество» у Запада, отнюдь не были простыми подражателями своим учителям, а использовали их принципы и идеи применительно к своей отечественной почве, насыщая их богатым конкретным содержанием современной русской действительности.

---

Широкое восприятие французской культуры начинается, как указывалось, в царствование Елизаветы, в 40—50-е годы, в пору завершения движения русского дворянства к власти, в период его бурного подъема, его культурной и политической экспансии.

Сферой притяжения и восприятия французских влияний является, в первую очередь, двор императрицы, играющий роль не только политического центра, но и культурного представительства абсолютной власти, призванного демонстрировать ее величие и мощь. Необходимые для двора и высшей знати дворянской монархии блеск и пышность целиком заимствуются из Франции, безоговорочно признанной арбитром художественного вкуса. Дворцы при Елизавете строит Растрелли—итальянец по



И. В. СТАЛИН И РОМЭН РОЛЛАН  
Москва, 28 июня 1935 г.  
Фото - снимок Г. Петрова

крови, но француз по культуре; на потребу двора и знати из Парижа в изобилии рекрутируются художники, архитекторы, литейщики, среди которых приезжают и работают в России такие выдающиеся мастера, как художники Токке и Лагрене, миниатюрист Самсуа, скульптор Жилле, архитектор Деламот и др. Из Франции же заимствуются придворные формы поэзии—торжественные оды, «надписи», мадригалы, входившие необходимым элементом в ритуалы дворцовых празднеств. Верхушка дворянства, с ее стремлением ко двору, начинает усваивать нормы французского светского поведения. Входят в моду французский язык, французские книги, французские гувернеры. Французам подражают в обстановке, одежде, нравах.

Непосредственные внешнеполитические интересы (предстоящее вступление России в семилетнюю войну в союзе с Францией), а еще более необходимость политики идеологического укрепления дворянской монархии, поднятия ее престижа в странах Запада, где «северную империю» все еще рассматривали, как «империю варваров», заставляют правящие круги озаботиться установлением непосредственного культурного контакта с Францией. Ограниченная и невежественная Елизавета, хотя и воспитанная на французский лад, не могла, подобно Екатерине, претендовать на роль «друга философов». Культурный престиж монархии на Западе защищают просвещенные вельможи, влиятельнейшим и типичнейшим среди которых является, для данного времени, И. И. Шувалов. По выражению его биографа, «он был чем-то вроде неофициального русского посла при той общеевропейской литературной державе, которая имела Париж своей столицей и задавала тон остальной Европе»<sup>11</sup>. Шувалов одним из первых завязывает непосредственные связи с европейскими писателями. Он выступает инициатором в области вовлечения в политику русского двора деятелей французского просвещения, в первую очередь Вольтера, пишущего по заказу Елизаветы (фактически Шувалова) «Историю России при Петре Великом». Человек по-европейски образованный, посещавший «философические гостиные» маркизы дю Деффан и г-жи Жоффрен, находившийся в деловой и дружеской переписке с Вольтером, Гельвецием, Даламбером, Бюффоном и другими, И. И. Шувалов—«северный Меценат», как его называли в Европе,—несомненно, способствовал украшению европейским орнаментом фасада елизаветинской монархии и подготовил дворянско-придворный «siècle des lumières» Екатерины II.

Сложнее складывались отношения к французской культуре за пределами узкой сферы придворно-монархического быта и политики елизаветинского времени.

Величайший культурный деятель этого времени, гениальный русский ученый и мощный строитель национального языка и литературы, Ломоносов, непосредственно почти не связан с Францией (хотя в его торжественных одах имеются отдельные тематические и текстовые параллели с Малербом, Ж.-Б. Руссо и др.). Тем не менее, этот поэт-ученый, утвердивший в русской литературе господство классического стиля, в сильнейшей степени содействовал своей теорией и практикой усвоению целого ряда эстетических и жанровых норм французского классицизма на русской почве. Утвержденный им поэтический стиль удержался в России едва ли не дольше, чем где-либо, и окончательно заколебался лишь в начале XIX в. Весь этот период развития русской словесности проходит под знаком господства французских идей, и можно сказать, что воздействие

художественной системы, созданной Буало и Расином, явилось наиболее мощным проявлением культурных влияний Франции на всем протяжении нашей литературной истории. Но это обстоятельство не лишает, разумеется, допушкинскую литературу ни ее самостоятельности, ни оригинальности. Традиционное мнение о подражательности всего русского классицизма, о его «неорганическом», «импортном» характере отражает инерцию домарксистских методов изучения этого вопроса<sup>12</sup>.

Классицизм возник в России в результате социальных причин, во многом аналогичных тем, которые обусловили зарождение и развитие этого стиля во Франции. В условиях отсталости русского экономического и культурного процесса, неизбежным оказалось заимствование ранее сложившихся и родственных поэтических форм для развития собственной дворянской литературы. Но, заимствуя у своих старших французских учителей те или иные идеи и образы, русская поэзия приспособляла их к своим специфическим условиям и особенностям национального развития. Нельзя поэтому говорить об «искусственности», «неорганичности» русского классицизма, о голой подражательности его. Восприятие системы французского классицизма было подготовлено и вызвано собственными процессами русской литературы XVIII в., обусловившими и глубокую переработку этого литературного стиля на русской почве.

По замечанию исследователя, французский классицизм утратил в России свою тонкую изысканность и остроумие и вместо того включил в себя много элементов «готической грубоватости и нескладности»<sup>13</sup>. Но оригинальность русской литературы периода классицизма отнюдь не ограничивается теми формальными новшествами и тем огрублением стиля, которые были неизбежны уже в силу отсутствия развитой нормы литературного языка. Оригинальность эта, в первую очередь, измеряется степенью реализма нашей литературы, но не только этим. Торжественные оды Ломоносова на темы русского культурного и хозяйственного строительства, не будучи реалистическими, вполне оригинальны и национальны в своем пафосе, непосредственно порожденном русской историей, русской политикой. «Отечеству подать довольство, честь, покой и просветить народ», ради чего «нам сносны все труды и не ужасны смерти», — вот лозунг национально-просветительной патетики, пронизывающей творчество Ломоносова. Прямое же, реалистическое отражение конкретной русской действительности в том «сатирическом направлении», которое, по словам Чернышевского, «составляло самую живую сторону нашей литературы» XVIII в., сообщает подлинную оригинальность, несмотря на имеющиеся в них элементы формальной и жанровой зависимости от французских образцов, и сатирам Кантемира, и очеркам Новикова, и комедиям Сумарокова и Фонвизина, не говоря уже о «Путешествии» Радищева.

Огромная работа, проделанная русской литературой эпохи классицизма над выработкой и организацией литературного языка, проходила, в основном, также вполне самостоятельно. С самого начала XVIII в. происходил стихийный и бурный процесс европеизации нашего словаря, особенно обогатившегося в области быта и повседневного обихода словами французского происхождения<sup>14</sup>, но формированию русского литературного языка непосредственный французский опыт мало чем мог помочь. Французскому слогу трудно было подражать, как ввиду резкого отличия грамматического строя его от русского языка, так и в силу огромной, вначале, разницы между высокоразвитой французской и примитивной

русской языковой культурой. И нет большего несходства, чем, например, между идеально гладким языком творца «Федры» и стремившегося итти по французскому пути «российского Расина», Сумарокова. Еще более наглядно эта разница выступает при сопоставлении гладких и правильных французских стихов Третьяковского с его русскими поэтическими опытами, в которых на каждом шагу ощущается затрудненность экспериментатора, еще лишенного собственной языковой традиции. Труднейшей задачи создания литературного русского языка наш классицизм не разрешил, оставив ее Карамзину, Жуковскому и Пушкину. Но основы были заложены, и вековая работа русской мысли в области языкового строительства была исключительно плодотворна. Особенно замечательна в этой области деятельность Ломоносова. Как и Третьяковский, и Сумароков, и другие поэты XVIII в., Ломоносов в своей работе над языковой системой, разумеется, в какой-то мере опирался на богатую теоретическую и практическую разработку вопросов литературного языка и стиля в эстетике французского классицизма. Еще во Фрейбурге он изучал Словарь Французской академии и работы крупнейшего теоретика эпохи, Вожля. Организация французского литературного языка в поэтической системе классицизма, несомненно, служила и для него некоторой гипотетической нормой, к которой нужно было, в меру структурных особенностей русского языка, стремиться и у нас<sup>15</sup>. Но, хотя ломоносовская иерархия «трех штилей» литературного языка и связывается, в конечном счете, с французской дворянско-монархической эстетикой, тот широкий доступ, который Ломоносов открыл народному языку, в его разнообразных проявлениях, преимущественно перед языком дворянской гостиной, совершенно противоречил духу французского классицизма и был абсолютно чужд эстетическому катехизису не только Буало, но и Вольтера.

Значительно более определенны и широки французские связи русского классицизма у деятелей второго его этапа—сумароковского. Сумароковская школа оформляется в конце царствования Елизаветы, в пору завершения творчества Ломоносова и в ожесточенной борьбе с ним и с его направлением. Она господствует в основном примерно до 1780 г. и включает, кроме самого Сумарокова, В. Майкова, Хераскова, Новикова, Фонвизина и до десятка других более мелких имен. Открытая приверженность Сумарокова французским эстетическим и жанровым нормам слишком известна. В «Наставлении хотящим быти писателями» Сумароков перечисляет имена французских классиков:

Корнелий и Расин, Депро и Молиер,  
Де ла Фонтен и где им следует Вольтер  
.....

Мальгерб, Русо, Кино, французов хор реченный—

чтобы завершить этот перечень призывом:

Последуем таким писателям великим.

Сумароковский классицизм опирается на хорошее, непосредственное знакомство с французскими образцами и выражает разностороннее движение богатой дворянско-аристократической культуры третьей четверти XVIII в. Вольтер для них, прежде всего,—законодатель вкуса и литературных приличий, а потом уже враг суеверия и религиозного фанатизма. Монтескьё близок им, прежде всего, своей идеей чести, как основы дворянской этики. В его учении они ищут подкрепления своей аристокра-

тической независимости перед двором и вельможами и в то же время обоснования своим стремлениям ограничить в пользу просвещенного и «добродетельного» дворянства произвол монарха и его сатрапов. Свою миссию писатели сумароковской группы видели в воспитании социального самосознания дворянства, в пропаганде его культурных идеалов и стремились в своей поэтической практике возможно полнее отразить все интересы этой группы. Отсюда богатство и разнообразие поэтических жанров, заимствуемых «сумароковцами» из поэтики французского классицизма, в противоположность «одическому» однообразию Ломоносова. Сумароков, в частности, в сильнейшей мере способствует утверждению в России французского театра, в лице его корифеев Мольера, Корнеля, Расина, но также и Вольтера. Начиная с Сумарокова и вплоть до начала XIX в., русская трагедия, не теряя своего самостоятельного развития, неразрывно связана, вместе с тем, с именами великих французских трагиков<sup>16</sup>. Исключительность же русской литературной судьбы Мольера общеизвестна. Проникнув в Россию еще в конце XVII в., Мольер именно Сумароковым—его страстным поклонником, предсказывавшим «Тартюфу» «бессмертие, доколь пребудет век» и подражавшим великому французцу в своих комедиях, вводится в русскую литературу и на русскую сцену и с тех пор и до наших дней остается там в качестве самой живой, самой активной, самой плодотворной силы французского театра<sup>17</sup>.

Сумароков и его последователи образуют центральную группу в русской дворянской культуре XVIII в. Но усвоение идей французского просвещения в первые годы царствования Екатерины происходит и помимо сумароковской группы, и притом с необыкновенной быстротой, которая представляется, чаще всего, обратно пропорциональной глубине и ограниченности этого усвоения.

На протяжении 60—80-х годов получает широкое развитие одно из наиболее ярких культурно-бытовых явлений XVIII в.—знаменитое русское вольтерьянство. Казанова, посетивший Россию в половине 60-х годов, пишет в своих «Мемуарах»: «Говоря о французских книгах, я разумею сочинения Вольтера, которые для московитов представляют всю французскую литературу»<sup>18</sup>. Направление это было, конечно, весьма поверхностным, о чем свидетельствует уже самая широта его распространения: «вольтерьянской» считала себя чуть ли не вся масса русского грамотного дворянства, и даже в провинциальном захолустье «раздавались насмешки над религией, хулы на бога, эпиграммы на богородицу». Но эти насмешки и «свободомыслие» переплетались и превосходно уживались с унаследованной от отцов патриархальной церковностью и причудами дикого барства, принимая иногда самые уродливые формы. Разумеется, для большей части русских «вольтерьянцев» подлинный Вольтер был в полной мере неизвестен и недоступен. Вольтеровские ирония и насмешка усваивались не столько в идеологическом плане, сколько в качестве одного из необходимых элементов модного светского обихода и европейской образованности<sup>19</sup>.

Широкое развитие дворянского «бытового» вольтерьянства в значительной мере поддерживалось официальным поощрением и официальным примером со стороны «правительственного» и «вельможного» вольтерьянства. Пример подавала сама Екатерина. Но если ее прославленная всеми верноподданническими и буржуазными историками «дружба с философами» была в значительной мере саморекламой и одним из методов ее политиче-

ской тактики, то среди ее вельмож и приближенных нашлись такие, которые сумели придать своим официально-должностным вначале сношениям с «республикой литературы» формы более серьезного, искреннего и плодотворного сотрудничества.

За исключением одного Сумарокова<sup>20</sup>, круг русских корреспондентов и знакомых Вольтера был замкнут средой придворной и правительственной знати. С Вольтером лично общались и переписывались русский посланник в Париже, гр. М. П. Бестужев-Рюмин (1688—1760), через которого велись переговоры с Вольтером о написании «Истории России», русский посол в Голландии и Париже кн. Д. А. Голицын, главный устроитель поездки Дидро в Петербург, а также инициатор проекта перенесения печатания Энциклопедии в Россию, лицемерно поддержанного Екатериной<sup>21</sup>; упомянутый выше И. И. Шувалов, снабжавший «фернейского отшельника» ценными документами для «Истории Петра Великого»; гр. К. Г. Разумовский (1728—1803), канцлер гр. М. Л. Воронцов (1714—1767), его племянник и также будущий канцлер граф А. Р. Воронцов (1741—1805), дипломат, поэт и музыкант кн. А. М. Белосельский-Белозерский (1752—1809), корреспондент Шувалова, посланный Вольтеру для «помощи» в его работе над «Историей России», Б. М. Салтыков (1723—1808), президент Академии наук кн. Е. Р. Дашкова (1743—1810), известный своими связями со всем миром энциклопедистов и своими безупречными французскими стихами, принимавшимися современниками за стихи самого Вольтера, гр. Андрей П. Шувалов (1744—1789), блестящий царедворец екатерининского времени, дипломат кн. Н. Б. Юсупов (1750—1831), которому Пушкин посвятил свое послание «К вельможе», упомянув в нем и о Вольтере, и ряд других.

Русское вельможное дворянство, не ограничиваясь личными связями с одним Вольтером, переписывалось также с Дидро (И. Бецкий, Е. Дашкова, Д. Голицын, Г. Орлов, С. Нарышкин), с Руссо (Гр. и Вл. Орловы, К. Разумовский), Гельвецием и Даламбером (И. Шувалов, Д. Голицын, Е. Дашкова).

Дворянско-буржуазная литература, отечественная и иностранная, создала пышную легенду о «Великой Екатерине» («Catherine la Grande»). Нельзя, конечно, отрицать у нее наличия достаточно живого, субъективного интереса к идеям французских просветителей и ее начитанности в этой области. У себя на родине она получила незаурядное для своего времени воспитание с модным тогда философским уклоном. Привезенная в пятнадцатилетнем возрасте в Россию и живя здесь в уединении, она, по собственному выражению, «питала свою душу серьезным чтением», читала Плутарха, Цицерона, Платона, более же всего Монтэня, Вольтера, Монтескье, Бэля, а с 1751 г. и Энциклопедию. Но эти свои знания, как и свой личный интерес к последнему слову европейской культуры, Екатерина, став императрицей, поставила на службу политическим интересам, не имевшим ничего общего с сущностью тех теорий, которым она, на словах, так сочувствовала. «Покровительство» французским просветителям великолепно служило целям европейской рекламы «просвещенного самодержавия», в искусстве которой Екатерина не имела себе равных. И нужно признать, что ряд современников невольно способствовал этой рекламе и, сам того не сознавая, творил легенду о «философе на троне». Вольтер расточал перед ней свою лесть—«земных богов напиток». Дидро, этот «посол и полномочный министр энциклопедической республики» (Вяземский), не

ограничившись перепиской, приехал на склоне своих дней в Петербург, обольщаемый обещаниями издать под эгидой «северной Семирамиды» второе, свободное от цензурных искажений, издание Энциклопедии и добросовестно думая своими советами помочь ей облагодетельствовать свой народ. Даламбер, хотя и не простивший никогда Екатерине смерти Петра III и отклонивший предложение быть воспитателем Павла Петровича, был с ней в дружеской переписке. Grimm, «странствующий агент французской философии» (Пушкин), был в полном ее распоряжении и даже поступил позднее на ее дипломатическую службу.

Пушкин назвал эти сношения Екатерины с философами ее столетия «отвратительным фиглярством», но нужно признать, что нигде это фиглярство не проявилось с большим лицемерием и цинизмом, чем в попытках императрицы заручить на свою сторону Ж.-Ж. Руссо, самого непримиримого философа того времени, которого она ненавидела и чьи книги запрещала к распространению в своей империи. Нескрываемый демократизм «женевского гражданина», его плебейская честность и независимость заставили Екатерину благоразумно уклониться от риска непосредственного обращения к нему. Но инспирированный ею Григ. Орлов приглашает автора только-что запрещенного Екатериной «Эмиля» в Россию, предлагая ему поселиться в Гатчине и соблазняя его блестящими предложениями. Волее бескорыстно приглашал Руссо его «усердный почитатель», гр. К. Г. Разумовский, намеревавшийся предоставить в распоряжение философа свое украинское имение и подарить ему свою знаменитую библиотеку. Когда же Руссо решительно отказался приехать в Россию, Екатерина через Дидро предложила ему пенсию и единовременную выдачу 100.000 франков, не требуя уже взамен его приезда. Это циничное предложение было, разумеется, сделано с расчетом на огласку, и Руссо справедливо расценил его, как попытку Екатерины «обесчестить» его имя в глазах потомства<sup>22</sup>. Известны также откровенные отзывы Екатерины о Дидро, «ученицей» которого она любила себя называть. Ознакомившись с его замечаниями на ее «Наказ»—наивную компиляцию из Монтескьё, Вольтера, Локка и Беккарии,—оставшийся без всякого применения в России, она раздраженно писала Гримму: «Это—сухая болтовня, в которой нет ни знания обстоятельств, ни благоразумия, ни предусмотрительности. Если бы мой Наказ был во вкусе Дидро, он должен был бы перевернуть в России все вверх дном». В таком же духе она отзывалась и о своих личных петербургских беседах с философом. Но, несмотря на этот разрыв между либеральным словом и крепостническим делом, в истории русско-французских культурных отношений «правительственное вольтерьянство» 60—70-х годов сыграло и свою положительную роль (приобретение личных библиотек и рукописей Вольтера и Дидро, деятельность последнего по разысканию и покупке для Екатерины, очень мало понимавшей в искусстве, ряда ценных коллекций картин, составивших ценнейший вклад в наш Эрмитаж, и др.).

Сочинения французских писателей в огромном количестве ввозились в Россию, произведения Вольтера, Дидро, Монтескьё и даже Руссо в изобилии появлялись и в русских переводах, а популярный «Дух законов» мог даже служить предметом целого университетского курса<sup>23</sup>. С другой стороны, либеральные заявления Екатерины и «покровительство», оказывавшееся ею тесным и преследуемым во Франции писателям и философам, вызывали у последних интерес к России, что, в свою очередь,

способствовало более углубленному и непосредственному ознакомлению французов с нашей страной. Самым ярким фактом является здесь участие целой группы французских писателей и ученых, в том числе и Вольтера, в закрытом конкурсе Вольного экономического общества в 1765 г. на представление сочинений, разрабатывающих тему о крестьянской собственности в России. Из Франции было представлено 21 сочинение, и первую премию получил француз Béardé de l'Abbaye, сторонник уничтожения крепостного права<sup>24</sup>.

О французском интересе к России свидетельствуют и другие факты. Французский историк Шарль Левек, проживший в Петербурге семь лет, на основе собранных им здесь материалов выпускает в 1782—1783 гг. свою пятитомную «Histoire de Russie»—первый, если не считать Вольтера, серьезный французский труд по истории России, в котором уделено большое внимание современности, в том числе и новейшей русской литературе. Экономике и быт России тщательно изучает, готовясь к поездке в северную столицу и уже находясь в ней, Дидро. С законодательством России приезжает ознакомиться на месте ученый-юрист д'Агессо. Посещает Россию и знаменитый Рэналь, собравший здесь материал об ужасающем положении крепостных и сумевший позднее разоблачить Екатерину. С широким планом экономических реформ явился в Петербург известный физиократ Мерсье де Ла Ривьер, но, услышав резкую отповедь Екатерины в ответ на свои радикальные советы о превращении феодально-деспотической монархии в буржуазное общество, быстро покинул Россию. Молодой Бернарден де Сен-Пьер, наивно уверовавший, что в империи «северной Семирамиды» наступил «золотой век» для философов и открылась широкая возможность для социально-политического экспериментаторства, помчался в Россию в надежде основать где-то на территории современного Казахстана свою «республику свободных общин», нечто вроде будущих фаланстер Шарля Фурье. Но Екатерина не захотела даже разговаривать с наивным утопистом, а Гр. Орлов счел его не вполне нормальным. Однако, плодом пребывания автора «Поля и Виргинии» в Москве и Петербурге явились его описания России и ее быта—первое «русское путешествие» французского писателя<sup>25</sup>.

Еще в 1761 г. в Тобольск через Петербург ездил астроном аббат Шапп д'Отрош, чтобы наблюдать прохождение Венеры через диск солнца. Вернувшись во Францию, он написал и издал в 1768 г. книгу «Relation d'un voyage en Sibérie», в которой, наряду с результатами своих наблюдений над небом, дал яркую картину страшной действительности крепостной России. Екатерина была сильно возмущена этой книгой. Не имея возможности расправиться с ученым-аббатом, как она расправлялась со своими домашними «врагами», она прибегла к орудию печати. Не сумев заставить Фонвизина и Болтина написать возражения Шапп д'Отрошу, она сама написала ответный ему памфлет под заглавием «Антидот».

Политика либеральных фраз и официального «вольтерьянства» была кратковременна. Широкая волна крестьянских восстаний 1773—1774 гг. положили конец и либеральной саморекламе Екатерины, и вольнодумству дворянских просветителей, а появление в 70-х годах первых русских «разночинных», демократических вольнодумцев, с одной стороны, и углубление, по мере приближения к 1789 г., революционности самой

французской литературы—с другой, явились причинами, обусловившими постепенный переход значительной части либеральной дворянской интеллигенции от «нападения» к «обороне», от вольтеровского деизма и рационализма к масонской религиозности (розенкрейцеры). Это влекло за собой ослабление французских идейных влияний и усиление немецких пиэтических. Среди дворянских либералов появляется определенная вражда к левой буржуазно-просветительной литературе. Против Руссо резко ополчается теперь и Сумароков (в статьях «О новой философической секте» и «О слове Мораль»), и переводчик Гольбаха И. В. Лопухин, печатающий в 1780 г. опровержение на «De l'Esprit» Гельвеция под названием «Рассуждение о злоупотреблении Разума некоторыми новыми писателями» и «Замечания на известную книгу Руссову *Du contrat social*».

В дворянской поэзии 70—80-х годов все большее развитие получают элегические, пасторально-идиллические и пиэтические темы, противопоставляемые идеям и установкам буржуазно-просветительной литературы. Соответственно меняется и характер французских воздействий. Пиэтист Сен-Ламбер, пасторалист Флориан, элегик Парни и другие привлекают к себе все большее внимание. И эта новая струя французских литературных воздействий отчетливо видна в творчестве Сумарокова, Хераскова (в свои поздние годы примкнувшего к молодому Карамзину), Я. Княжнина, Майкова, Богдановича и др. В целом, однако, французские идейные влияния ослабевают и уступают место немецким пиэтическим. Необходимость отмежевания от все более возрастающего, по мере приближения революции, радикализма идей французских просветителей принимает иногда форму вражды ко всему французскому. Некоторая галлофобия свойственна была дворянским фрондерам и раньше, но она была направлена против поверхностного обезьянничания с французских мод, против «петиметров», против французских заезжих авантюристов, водивших за нос невежественных русских бар. После крестьянского восстания Пугачева начинает развиваться «французоедство», проникнутое сознанием социальной опасности буржуазно-просветительных идей. Наиболее яркое выражение эта галлофобия получает в письмах Фонвизина из Франции к Петру Панину, одному из лидеров дворянских фрондеров. Отдавший дань вольнодумию и увлечению энциклопедистами, создавший под прямым воздействием французской просветительной философии свое «Послание к слугам моим...», переводчик вольтеровской «Альзирь» и трактата аббата Койе «Торгующее дворянство», автор политических рассуждений «о пользе третьего чина», Фонвизин вместе с тем сознает социальную опасность для своего класса увлекающих его идей французского философского, экономического и религиозного радикализма и сочувствуя некоторым из них одновременно борется с их основным содержанием. Он высмеивает эти идеи в их русском преломлении в «Бригадире», стремясь уничтожить «русских гельвецианцев» в образе Иванушки, и дискредитирует первоисточник этих идей в письмах из Франции 1777—1778 гг. В этих замечательных в литературном отношении письмах тонко проводится отождествление прогрессивной, просветительской Франции с косной Францией старого, умирающего режима. Грязь и антисанитарное состояние французских городов, моральная распущенность столичного дворянства и его прихлебателей, легкомыслие, переменчивость, культ моды, уродливые крайности атеизма и демократизма—все сливается у Фонвизина в один образ страны легкомысленной, безбожной, безнравственной. Автор «Недоросля» пользуется здесь приемом

моральной дискредитации враждебных ему прогрессивных явлений путем отождествления их с той действительностью, отрицанием которой они являются. При этом Фонвизин широко заимствует замечания и суждения о социально-политической жизни Франции, не называя, однако, источников из сочинений самих просветителей, в частности, из «Философских мыслей» Дидро, а более всего из известной работы французского моралиста Шарля Дюкло «*Considérations sur les mœurs de ce siècle*»<sup>26</sup>. Отзывы Фонвизина о современных ему писателях Франции отличаются тем же стремлением морально дискредитировать их. С особенной неприязнью и резкостью отзываясь Фонвизин о Мармонтеле и Даламбере. Примечательно, однако, что он делает исключение для «славного Руссо», которого считает «чуть ли не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века», и Антуана Тома<sup>27</sup>, которого «кроткость и честность» ему «очень понравились». В письме к своей сестре из Парижа от августа 1778 г. Фонвизин рассказывает о своих попытках познакомиться с Руссо. Это письмо, в котором сообщается также о последних днях жизни философа и об обстоятельствах, предшествовавших его смерти, является интересным памятником своеобразного русского дворянского руссоизма, о котором нам еще придется сказать ниже несколько слов.

В то время, когда Фонвизин выступает против Франции и французов, Державин в своей поэтической практике создает искусство максимально чуждое французским нормам. Выходец из рядового провинциального дворянства, до зрелых лет простой гвардейский солдат, не знавший французского языка и чуждый светской французской культуре, Державин—самое самобытное явление русской литературы до Пушкина. «Невежество было причиной его народности»,—писал о нем Белинский в «Литературных мечтаниях». Но Державин отлично знал цену своему невежеству и совершенно сознательно культивировал его, как сознательно культивировал свои чудачества Суворов и свое «варварство» Потемкин. В поэзии Державина французское влияние сходило на-нет. Хотя в Державине не было ничего романтического и хотя его неподчинение французской классической норме имеет гораздо больше общего со свободой поэтов позднего Ренессанса и Барокко, еще не подчинившихся ей, чем со свободой Руссо или Гёте, сбросивших с себя ее ярмо,—Державин явился в тот момент, когда новый буржуазный антиклассицизм уже начинал просачиваться в Россию, и творчество его явилось толчком и к разрушению классических норм, и к усилению борьбы против идей просвещения. Но дальнейшее развитие русско-французских культурных взаимодействий было резко осложнено взятием Бастилии и началом революции.

Пока дворянские фрондеры превращались в масонов—мартинистов и розенкрейцеров и обращали свои взоры к Германии, пока Фонвизин, как бы предчувствуя 1789 г., начинал свою антифранцузскую кампанию, а Державин на практике ниспровергал художественную систему французского классицизма, французские влияния разрастались по другим линиям. С одной стороны, продолжалось завоевание дворянства французской светской культурой, а с другой—узким, но острым клином вторгалось новое, левое просветительство, материалистически оформляя идеологию нарождавшейся антидворянской демократической интеллигенции. Ни филиппики Фонвизина, ни систематическое противодействие масонов не могли его удержать. Носители этих левых тенденций были частью разночинцы, частью отдельные лица из числа дворянства. Одни из первых эпизодов

в этой области—книга шляхтича Я. Козельского «Философические предложения» (1768), проводившая идеи Руссо и Гельвеция, и антирелигиозная диссертация московского адъюнкта-поповича Д. Аничкова «О начале и происхождении богопочитания», представленная в Московский университет в 1769 г. и вызвавшая гонение со стороны куратора университета Хераскова. Но центральная фигура раннего русского революционного просветительства—Радищев.

Подобно Ломоносову, Радищев учился в Германии и непосредственного, личного контакта с французской культурой не имел. Но если Ломоносов и в Германии 30-х годов не мог уйти от вездесущего влияния французских эстетических норм, Радищев около 1770 г. жил там, полностью окруженный атмосферой нового французского материализма и демократизма, которые глубоко волновали и молодую Германию. В «Житии Федора Васильевича Ушакова», своего рано погибшего друга, Радищев описывает, как он и его товарищи, русские студенты, познакомились в Лейпциге с книгой Гельвеция «О Разуме» и («в одной мыслить научались»)²⁸. Радищев познакомился в Лейпциге и с сочинениями Мабли, которые также оставили глубокий след в мировоззрении русского просветителя. Книга Мабли «Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастья греков» была издана в 1773 г. в русском переводе Радищева.

Французская просветительная литература—главный теоретический источник мировоззрения Радищева. «В Радищеве,—писал Пушкин,—отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидерота и Рэналья». Просвещение немецкое и английское сыграло менее значительную роль в развитии его философских и социально-политических взглядов²⁹. Бэль, Вольтер, Монтескьё, Руссо, Мабли, Рэналь, Гольбах, Гельвеций, Дидро—таковы идеологические вдохновители русского мыслителя, приговоренного к смерти за смелое выступление против самодержавия, за осуждение крепостного права, за прославление свободы. Наряду с этими воздействиями, в его теории отразилась и практика восстания Пугачева и ряда крестьянских «бунтов» конца века, усложненная опытом революций в Англии и Америке и всем движением мощного идеологического подъема, предшествовавшего Французской революции 1789 г. В своих социально-политических взглядах Радищев шел значительно дальше не только Вольтера, но и французских материалистов. Радищев стоит у истоков русской революции—отсюда тот размах его взглядов, тот полет, смелость и самобытность его мысли, которые позволили ему создать книгу, не только полную революционно-демократического пафоса, но и книгу, насыщенную конкретным материалом русской действительности. В этом величие и оригинальность Радищева, чье имя, как указывал Ленин, должно являться предметом русской национальной гордости. Критически усвоив близкие его собственным идеям достижения философии и социально-политических наук XVIII в., он переработал их в самостоятельное учение, органически связанное с историей России, с историей борьбы русского народа против самодержавия и крепостничества.

Философский трактат Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии» также обнаруживает тесную родственную связь его идей с французским просвещением и, в особенности, с французским материализмом XVIII в. Но и здесь Гольбах, Гельвеций и Дидро выступают не столько учителями, сколько родственными его собственному строю мыслей фило-

софами, которым он частично следует, уверенно формулируя свою собственную материалистическую философию, находящуюся на уровне самых передовых западно-европейских течений философской мысли того времени.

Как писатель, особенно как поэт, Радищев воспринял довольно значительные немецкие влияния, что не умаляет, однако, общеизвестного факта воздействий на него также и левого крыла французской литературы, в первую очередь Ж.-Ж. Руссо (в «Путешествии»), Вольтера (в поэме «Бова»), Монтескьё (в «Песни исторической»), а также Мабли, Мерсье, Ретиф де ла Бретона, Рэналя.

Французская революция, начавшая новый этап мировой истории, должна была оказать свое воздействие и на судьбы русской культуры. Для самых различных групп русского образованного общества конца XVIII—начала XIX вв. существенным показателем их социально-политического мировоззрения являлся тот или иной характер их отношения к революции. Она была тем политическим и идеологическим фоном, реже прямым источником, который многое определил в содержании и развитии русской общественной мысли на протяжении ближайших двух десятилетий, вплоть до декабристов. Однако, зависимость эту легче констатировать в ее общем историческом значении, чем проследить в конкретных явлениях современной русской общественной и литературной жизни.

В условиях реакции последних лет екатерининского и всего павловского царствования самая тема революции была слишком одиозна для того, чтобы получить сколько-нибудь прямое освещение в русском печатном слове. Вот почему связь русской литературы и общественной мысли с Французской революцией может быть установлена не столько по прямым высказываниям (сколько-нибудь значительных произведений, посвященных Французской революции, нет вовсе), сколько путем анализа всей литературы этого периода в целом, изучения ее основных идеологических направлений на фоне отношения различных групп русского общества к событиям, уничтожившим во Франции феодализм и аристократию и приведшим к победе буржуазии. Но такая работа еще не произведена нашей историко-литературной наукой<sup>30</sup>.

Отношение дворянской России к революции было сперва неопределенное. Событиям 1789 г.—первой конституционной фазе революции—многие даже платонически и романтически сочувствовали, вроде, например, Карамзина, восхищавшегося в Париже 1789 г. Робеспьером<sup>31</sup>, двух князей Голицыных, участвовавших в штурме Бастилии, или молодого Строганова, вступившего, при содействии своего воспитателя, республиканца и монтаньяра Жильбера Ромма, в члены Якобинского клуба и сделавшегося на очень короткое время секретарем этого клуба<sup>32</sup>. Сегюр свидетельствует даже, что весть о событиях 14 июля вызвала в Петербурге «энтузиазм», и притом в довольно широких слоях общества—«среди купцов, торговцев, граждан и некоторых молодых людей высших классов»<sup>33</sup>.

Еще дальше идет в своих наблюдениях официальный (после отъезда Сегюра) представитель революционной Франции в Петербурге, Эдмон Жене. Под впечатлением грандиозности революционных событий его мысль обращается к вопросу о том, насколько прочен в свете этих событий существующий в России государственный порядок: «Крестьяне готовы сбросить

суть иго своих господ-тиранов»; грамотное мещанство сочувствует «с энтузиазмом» революционной Франции, и это показывает, что в России «заложены семена истинной демократии»<sup>34</sup>. Если и допустить некоторое преувеличение в этих свидетельствах, необходимо, все же, признать, что первоначальный конституционный этап Французской революции не только не воспринимается русским дворянством резко-враждебно, но даже способствует некоторому оживлению оппозиционно-фрондерских настроений среди дворянских либералов, еще не полностью отошедших от прежних позиций, и служит для них источником теоретических рассуждений о свободе. Все это, однако, было тогда, когда революция возглавлялась либеральной буржуазией и еще не порывала с монархией. Якобинская диктатура, выступления крестьянства и широких плебейских масс быстро уничтожили всякие следы платонического сочувствия русского дворянства революции. Она воспринимается теперь, как угроза для всего дворянства, как опасность, с которой надо бороться и у себя дома. Этому повороту дворянства в отношении к революции способствует и правительственная политика. Первые же известия, полученные Екатериной о французских событиях, вызывают у нее резкое недовольство и раздражение. Екатерина нападает на революцию, боясь возможности перенесения «революционной заразы» в самодержавно-крепостническую Россию. Она прекрасно учитывает, что революция пропагандирует себя уже самым фактом своего существования, и стремится поэтому, прежде всего, создать крепкий заслон от проникновения в общество известий о совершающемся во Франции. Но войны с Турцией и Швецией сильно отвлекали Екатерину от французских дел и связанных с ними внутренних забот. Систематическая борьба против революции, угрожавшей «делу всех монархов», начинается только с 1792 и особенно с 1793 г. В прямой связи с революцией происходит развертывание целой системы репрессивных и идеологических мероприятий реакции: приговор над Радищевым и сожжение его книг (1790 г.), разгром фрондерского, в глазах правительства, масонства, арест Новикова и уничтожение всех его предприятий, усиление цензуры, запрещение княжнинского «Вадима» с его дифирамбами свободолюбию, борьба с идеями левого просветительства и республиканизма, путем издания ряда «разоблачительных» памфлетов на Руссо, Вольтера, на энциклопедизм и французский материализм в целом («Заблуждения Волтеровы», «Обнаженный Волтер», «Изобличенный Волтер» и т. п.). Одновременно в литературе появляются сочинения, прямо направленные против революции и стремящиеся идеологически обосновать и укрепить авторитет церкви и самодержавия. Одно из ранних здесь—сочинение Павла Икосова «Дифирамв, изображение ужасных деяний французской необузданности» (2 ч., 1794 и 1795). С резкой враждебностью к революции выступают Державин (стихи «В честь князя Пожарского» и «На панихиду Людовика XVI») и недавний лидер дворянских либералов, Херасков. Его патриотическая поэма «Царь или спасенный Новгород» должна, по словам автора, «представить весь ужас безначальственного правления, пагубу междуусобий, бешенство мнимой свободы и безумное алкание равенства».

Но отношение русской литературы к Французской революции не определялось только непосредственными откликами и впечатлениями. Влияние революции было значительнее и глубже; в той или иной степени оно входило активной силой в содержание самих литературных процессов и литературных явлений того времени, в качестве их существенной, опре-

деляющей величины. «Литературная деятельность Шишкова и Карамзина,—пишет исследователь,—и борьба архаистов и новаторов, национализм, определившийся в качестве своеобразной литературной идеологии в 90-х годах XVIII столетия, в значительной степени обуславливались именно отношением русского общества к Французской революции».

Последнее десятилетие XVIII в.—первое десятилетие XIX в.—в основном, границы литературной деятельности Карамзина, писателя, быть может, наиболее глубоко пережившего и отразившего в своем творчестве впечатления от революционного катаклизма, разрушившего самые основы дворянско-монархической культуры в Европе. Стремясь осознать грандиозные события, кратковременным очевидцем которых он был, Карамзин умел почувствовать размах и силу революции, длительность и глубину ее исторических последствий. «Французская революция,—записал в 1790 г. Карамзин, проведший три месяца в революционном Париже,—принадлежит к числу тех событий, которые определяют судьбу людей на длинный ряд столетий. Начинается новая эпоха; я в и ж у ее, а Руссо ее п р е д в и д е л... Я слышу разглагольствования за и против, но я далек от подражания этим крикунам... События следуют одно за другим, как волны бурного моря, и уже хотят смотреть на революцию, словно она окончилась. Нет, нет! Еще предстоит много удивительных вещей; крайнее возбуждение умов—тому предзнаменование»<sup>35</sup>.

Это понимание революции не как случайного и преходящего события, а как громадного исторического процесса, разламывающего всю дворянскую культуру в целом, оформляло политические и литературные позиции Карамзина, окрашивало в характерные тона его лирику и многое определило в развитии того направления, которого он был зачинателем.

В литературном отношении молодой Карамзин, как и Радищев, был учеником левого крыла французской литературы, Жан-Жака Руссо и того направления, которое называют сентиментализмом. Стремясь к раскрепощению «личности», которое с середины XVIII в. сопровождало рождение нового буржуазно-демократического сознания, являясь одним из органических элементов демократического мирозерцания Руссо, сентиментализм, однако, мог принимать направление совсем не демократическое. Он легко вступал в союз, например, с культом религиозного чувства и мог служить реакционным целям. В России 80—90-х годов XVIII в. «Новой Элоизой» и «Эмилем» Руссо восхищались и люди, которых никак нельзя было заподозрить в сочувствии к основному идейно-политическому содержанию этих произведений. На русской почве усваивалась не столько идеология автора «Общественного договора», сколько литературный стиль сентиментального руссоизма. Только у Радищева и его учеников сентиментализм сочетался с подлинным демократизмом, в руках же дворянских писателей он превращается в нечто совсем иное<sup>36</sup>.

Основным проявлением русского сентиментализма была ранняя деятельность Карамзина и примыкавших к нему писателей, не чуждая актуальных политических задач. Они стремились к тому, чтобы в условиях выявившихся реальных опасностей для класса помещиков (крестьянские восстания и Французская революция) сберечь свою дворянскую культуру, созданную за XVIII в., укрепив ее элементами национальной самобытности и в то же время сохранив максимум связи с живыми источниками

европейского просвещения, без чего дворянской интеллигенции грозили национальная замкнутость и культурное обеднение.

В связи со всеми этими задачами и обстоятельствами стоит и сложное отношение карамзинистов к французской культуре. С одной стороны, у них продолжают наметившийся после восстания Пугачева отход от нее и сближение с культурой немецкой и английской, с другой—именно у карамзинистов русская дворянская литература приобретает наиболее «французский» характер. Но Франция карамзинистов—Франция обезвреженная и «стерилизованная». Это Франция XVIII в., но без вольтеровской насмешки, без жан-жаковской страсти и демократического пафоса.

Значение французской культуры для Карамзина было почти всегда велико. Его «антифранцузский» период, когда он переводит Шекспира и Гердера и пишет «Поэзию» (1787), где, перечисляя великих поэтов, не упоминает ни одного французского имени, продолжался недолго<sup>37</sup>. Главный поэт карамзинистов, реформатор языка дворянской поэзии, Дмитриев,—не только чистый «француз»<sup>38</sup>, но—в основных культивируемых им жанрах сатиры, стихотворной сказки (conte), басни—и чистый классик, не меньше, чем Сумароков, и гораздо больше, чем Державин. В начинающейся борьбе против карамзинского либерального «европеизма» реакционеры обрушиваются на карамзинистов именно, как на «французов». И авторитетами для карамзинистов, вплоть до решительного перехода Жуковского к балладе (который произошел не раньше 1808—1809 гг.), остаются не Гердер и Клопшток, а Делиль, Флориан, Монкриф и т. п. Одно из самых влиятельных и «новаторских» по своему субъективизму произведений Карамзина—элегия «Меланхолия» (1800), больше чем на десятилетие определившая стиль русской элегии,—просто перевод из Жака Делиля—«парнасского муравья», которого Пушкин называл вместе с Буало, Расином и Вольтером, как одного из столпов «парнасского православия».

В борьбе за создание русского литературного языка карамзинисты широко использовали опыт французских писателей и сознательно ориентировались на него в ряде своих новшеств<sup>39</sup>. И совершенно не случайно, что борьба против карамзинизма со стороны реакционеров свелась, главным образом, к борьбе против их языковых реформ, в которых шишковисты усматривали проводников французской якобинской и атеистической пропаганды<sup>40</sup>. И это, в известном смысле, было правильно. Хотя сами карамзинисты были как нельзя более далеки от якобинизма и безбожия, они создали для русского языка возможность сделаться носителем отвлеченной философской и критической мысли, а тем самым и носителем безбожия и якобинизма. Язык Пушкина идет от языка карамзинистов, отличаясь от него силой, народностью, реализмом.

Пока русское дворянство настойчиво ищет путей для идеологического обезвреживания идей революции, официальная борьба самодержавия с революционной Францией идет, все более напрягаясь, вплоть до самого 18-го брюмера. Продолжая контрреволюционную политику Екатерины, прекратившей дипломатические и торговые сношения с Францией и вступившей в первую антифранцузскую коалицию, Павел I открывает поход против всего французского, которое является для него синонимом «яко-

бинского». Он совершенно не допускает привоза французских книг, возвращает из-за границы всех русских студентов, преследует республиканские фракции и круглые шляпы, борется с «якобинизмом» в языке, запрещая слова, напоминающие о революции, как «отечество», «гражданин», «представители», и уже пытается осуществить то, что впоследствии осуществили его сыновья,—сделать царскую Россию «жандармом Европы». В 1798 г. Павел присоединяется ко второй коалиции держав, организованной против Республики под руководством Англии и России, и принимает непосредственное участие в военных действиях против Франции. Героизм русских солдат, победоносно сражавшихся на равнинах Ломбардии и в снегах швейцарских гор, военный гений Суворова, огромные материальные средства и силы русского народа были использованы самодержавием для «спасения царей» и монархической Европы.

В условиях относительного либерализма «дней Александровых прекрасного начала», французские культурно-бытовые влияния хлынули широкой волной. Вместе с парижскими модами эпохи наполеоновской империи был принят и художественный стиль новой Франции, сменивший, впрочем, на русской почве свою суровую монументальность на интимность и превратившийся в русский «ампир»—самый характерный стиль русского дворянства. Французский язык достигает своего наибольшего распространения. Дворянская Россия, борющаяся с буржуазной Францией, в своем внешнем облике обильно заимствует у этой Франции.

Но наполеоновская Франция не была единственным источником французских воздействий на данном этапе, а самые эти воздействия не ограничивались сферой бытовой культуры и языка. Продолжала еще существовать старая полудворянская-полубуржуазная Франция XVIII в., и появилась контрреволюционная французская эмиграция, значительная часть которой направилась в Россию, надолго осела здесь и вошла, таким образом, в непосредственное соприкосновение с русской дворянской культурой, оставив в ней свои заметные следы.

Идейное и общекультурное влияние эмиграции было двояким и противоречивым. С одной стороны, французские эмигранты в России в массе своей были не столько представителями контрреволюции, сколько обломками дореволюционной Франции XVIII в., часто даже носителями умеренных и невинных идей просвещения. Они были воспитаны в чисто светской, антиклерикальной и отчасти даже антирелигиозной культуре, пропитанной идеями материализма. «Хотя они и эмигранты, они более или менее заражены взглядами, господствующими в их отечестве»,—писал про них Витворт, английский посланник в Петербурге.

В России Павла и Аракчеева французские роялисты, бежавшие от республики и боявшиеся военно-буржуазной империи, могли иногда быть даже ближе к либералам, чем к реакционерам, а среди царских вельмож такой эмигрант, как устроитель Одессы, герцог де Ришельё, был, конечно, в числе просвещенного и относительно передового меньшинства.

С другой стороны, в мировоззрении известной части эмиграции, в результате катастрофы, постигшей их дворянскую культуру, происходит поворот к воинствующему католицизму и начинает складываться глубоко реакционная идеологическая система, объявившая непримиримую борьбу всяким идеям революции, материализма и атеизма, всяким «делкам с XVIII веком». Учителями здесь были Жозеф де Местр и Шатобриан.

Французская эмиграция влияла на окружавшую ее русскую дворянскую среду в обоих этих направлениях. В той мере, в какой эмигранты, в массе своей ставшие в России домашними учителями в дворянских семьях, способствовали передаче своим воспитанникам антиклерикальной, насыщенной идеями просвещения французской культуры XVIII в., их воздействие, естественно, ничего реакционного в себе не содержало. Наоборот, оно в известной мере способствовало новому оживлению старой традиции русского дворянского «вольтерьянства» и явилось для некоторых дворянских юношей первоначальным толчком к критике самодержавно-аракчеевского деспотизма. Но это течение, не заключающее в себе специфических элементов контрреволюционной эмигрантской идеологии, сливается с общей струей продолжающихся воздействий французской культуры XVIII в. и с трудом поддается выделению. Гораздо легче определить следы католически-реакционных и контрреволюционных влияний эмиграции.

Хотя главный идеолог контрреволюции, Жозеф де Местр, четырнадцать лет своей жизни провел в России в качестве посланника сардинского двора, в интимной близости с петербургским «светом», хотя одно из его главных произведений называется «Санкт-петербургские вечера» и хотя он много размышлял и писал о России, идейное влияние эмигрантской контрреволюции на русскую культуру в целом было невелико. Программа, развернутая Местром в сочинении «*Quatre chapitres sur la Russie*», требовала, в качестве одного из основных средств предохранения страны от революции, распространения в ней католицизма, в котором автор «*Du Pape*» видел самую крепкую основу монархии. Не возражая против социальной части местровской программы, сводившейся к необходимости дальнейшего укрепления роли дворянства и к всемерной охране крепостного права, лидеры обеих групп русского консервативного дворянства той поры— Шишков и Карамзин (как автор «*Записки о древней и новой России*») — именно в этом пункте отказывались принять ее. Оба они хотели опираться не на католицизм, а на исконное православие и «народность»<sup>41</sup>.

Идеологу международной феодальной реакции не удалось создать в России сколько-нибудь широкой ультрамонтанской партии, о которой он мечтал, но влияния идей Местра, тем не менее, не избег ряд русских деятелей, среди которых, в первую очередь, нужно назвать Чаадаева, Тютчева и Печерина, а пребывание в аристократических гостиных Петербурга и Москвы французских аббатов-эмигрантов имело своим последствием переход в католицизм таких личностей, как Свечина, которой предстояло сыграть крупную роль в парижском литературном католическом мире и сгруппировать вокруг себя таких людей, как Монталамбер, Фаллу и др., а впоследствии Зинаида Волконская, Ив. Гагарин, Мартынов, Балабин<sup>42</sup>.

При Александре I для идей революции было мало почвы. После Радищева и до Пестеля в России, в сущности, не было подлинно революционной мысли, питавшейся идеями 1789 г., тем более 1793 г. Демократические тенденции в русской культуре этого периода проводили «радищевцы», деятели Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Но хотя идеи Французской революции не прошли бесследно для членов Общества, особенно для его радикального крыла (В. Попугаев, И. Борн), «радищевцы» начала 800-х годов были, в сущности, если говорить об их отношении к Франции, не более, как учениками просветителей дореволюционного периода. Монтескьё, Мабли, Рэналь, Руссо, Гельвеций составляли предмет их пристального внимания, изучения и восхищения<sup>43</sup>.

Вообще, Франция, действовавшая на русскую культуру эпохи наполеоновских войн, была, в основном, Францией XVIII в., Францией классицизма, рационализма, просветителей и светской бытовой культуры. В частности, классицизм, начавший колебаться перед революцией, когда Руссо и Дидро, по существу, совершенно порвали с ним, заложив основание новых эстетических мировоззрений, значительно укрепился, и именно в наполеоновские времена завершилась кодификация его в «Лицее» Лагарпа, получившем огромный авторитет и в России. Здесь нужно, однако, подчеркнуть, что за годы революции во Франции происходит революционное переосмысление классицизма, и этот революционный классицизм, вдохновлявшийся свободолобивыми речами древнеримских ораторов и искусством республиканского Рима, несомненно, оказал влияние на те попытки нового революционно-декабристского использования классического стиля, которые были предприняты Кюхельбекером, Катениным и Рылевым (тираноборческие образы Брута, Катилины, Публиколы и др.).

Безграничная бытовая галломания широких слоев дворянства и войны с Наполеоном не могли не порождать антифранцузских настроений среди более активной части консервативного дворянства. В борьбе с вышедшей из революции Францией, впервые после Елизаветы, начинает оживляться архаическое православие. Весной 1807 г., при возобновлении войны с Наполеоном, впервые царское правительство прибегает к религиозной демагогии, рассчитанной, якобы, на широкие массы; к этому прибегает и дворянская литература, выдвигающая таких поэтов, как например Н. Шатов с его православно-патриотической риторикой, подражанием библейским образцам и одическим переложением псалмов.

В тесной связи с активизацией православия организуется реакционная литературная группировка, возглавляемая адмиралом Шишковым. Сохраняя верность французскому классицизму, слишком ценному оружию иерархической дисциплины, чтобы от него отказываться, Шишков и его последователи строго ограничивают его XVII в., совершенно отвергая его буржуазно-просветительские и, тем более, революционные «извращения». Со всем новофранцузским они борются беспощадно. Против французских новшеств они выдвигают, с одной стороны, православие с его библейской торжественностью, с другой — «народность», идеализирующую все то косное, что века угнетения, религиозного дурмана и крепостничества привили народу.

Вторжение Наполеона в Россию в 1812 г. подняло на борьбу с ним весь русский народ. Перед лицом наполеоновского нашествия вынуждено сплотиться на единой патриотической платформе и русское дворянство. Патриотические переживания событий порождают целую литературу, проникнутую пафосом борьбы с «тираном-завоевателем» и антифранцузскими настроениями. Средоточием этого противofранцузского движения в литературе являются те же шишковисты, и особенно «Русский Вестник» Сергея Глинки. С концом войны напряжение борьбы со всем французским ослабевает, и дворянская литература отказывается от ряда крайних мер, допущенных перед лицом опасности. Французская культура была еще нужна русскому дворянству, и оно не хотело отказываться от нее, а лишь ограничивать и перерабатывать ее в меру своих социальных интересов и своего понимания задач национальной русской культуры. Когда в годы наибольшего влияния Сперанского и подчинения Александра Наполеону наметилась широкая крепостническая реакция, ее идеологом и выразителем

выступил скоро не кто иной, как Карамзин. Чрезвычайно уверенно выступая (в «Записке о древней и новой России») против всяких реформ, могущих поколебать незыблемость самодержавия и крепостного хозяйства, Карамзин, однако, не нападает на культурное западничество, на европейское просвещение. Выступая апологетом самодержавия, он не предлагает цельной идеологической системы, теоретически обосновывающей его архаическим православием, как у Шишкова, или контрреволюционным ультрамонтанством, как у Местра. Он остается сторонником просвещения, общения с Западом, рационализма и морализма. Он за компромисс, за «делку с XVIII веком», против чего так яростно возражал Местр. В этом была слабость Карамзина, как идеолога реакции, но это же объясняет и то, почему, несмотря на его политическую реакционность, такие люди, как Пушкин и Вяземский в молодости, могли считать его своим.

Характеризуя Францию периода наполеоновских войн и «униженный» немецкий народ, Ленин писал: «Против него [немецкого народа] стояла не только военная сила и мощь, не только завоевателя Наполеона—против него стояла страна, которая была выше его в отношении революционном и политическом, выше Германии во всех отношениях, которая поднялась неизмеримо выше других стран, которая сказала последнее слово»<sup>44</sup>. Падение Наполеона повлекло за собой общий кризис французской культуры и французского культурного сознания. Но международная общественно-политическая значимость французской дореволюционной культуры, Французской революции и наполеоновских войн была столь велика, что и после двойной национальной катастрофы 1814—1815 гг. Франция продолжает сохранять свой международный культурный престиж, хотя и в ослабленном виде. В России же отношения складывались так, что именно теперь эта, казалось бы, скомпрометированная французская культура оказалась особенно нужна и особенно плодотворна. Это было связано с принципиально новым этапом в развитии культурных отношений России и Франции, России и западно-европейских стран вообще.

Пора неизбежного ученичества русской литературы, занявшая весь XVIII в.,—ученичества никогда, однако, не пассивного, а сочетавшегося с самостоятельными поисками творческих путей и созданием своих, самобытных культурных ценностей,—в основном завершилась. К 20-м годам русская литература вступает в период своей зрелости и в своих высших достижениях становится равной всякой иной национальной литературе Запада. Даже в таких областях, как басня и комедия, где связи с французской традицией были особенно крепки<sup>45</sup>, русская литература к середине 20-х годов становится в уровень с французской и, в плане национальной культуры, оказывается способной заменить ее. В лице Крылова Россия создает своего Лафонтена, и Пушкин скажет по поводу французского учителя русского баснописца: «Мы можем ему предпочитать Крылова»<sup>46</sup>. Грибоедов проходит глубокую и плодотворную школу французского театра, школу Мольера в первую очередь, и французский исследователь констатирует: «В творчестве Грибоедова русский гений возвысился до уровня театра Мольера, этого *chef-d'œuvre* серьезной комедии: ему уже ничему не оставалось учиться»<sup>47</sup>. Французская литература утрачивает для русской исключительность своей былой роли—быть образцом для подражания и источником для заимствования—и приобретает принципиально иное значение, определяемое не только возмужалостью русской культуры, но

и всей совокупностью исторических условий, сложившихся к первому десятилетию XIX в.

Французская революция и французская контрреволюционная эмиграция, наполеоновские войны и русские заграничные походы, Венский конгресс и Священный союз,—весь этот огромный поток исторических событий и фактов полностью вовлек в себя и Россию. Сфера европейских интересов и знаний русских людей значительно расширяется. Замечательное поколение строителей русской культуры, родившихся в десятилетие между взятием Бастилии и 18-м брюмера,—поколение, к которому принадлежали Пушкин, Грибоедов, Пестель, Чаадаев, Рылеев, Вяземский, Н. Тургенев,—осознает себя деятелями не только русской, но и всевропейской истории и культуры, хотя и на русском их участке. Русскую национальную культуру они вполне сознательно—и это их характерная черта—строят, как одну из великих европейских национальных культур, в тесном общении с ними, с учетом и творческой переработкой их опыта. Это осмысление своих национально-культурных задач в плане общеевропейского исторического развития становится отныне существенной чертой передовой русской литературы, определяющей и характер ее культурных взаимоотношений с Западом.

Для пушкинского поколения из всех национальных культур Запада самой близкой продолжает быть французская. В литературе первоначальным центром этих французских связей было объединение младших карамзинистов, а главным деятелем—молодой Пушкин. Если Жуковский, многое воспринявший из французской поэзии, около 1808 г. порвал с французской поэтикой и вступил на путь немецкого и английского романтизма, то его ближайший соратник, Батюшков, обновлявший и оживлявший русскую лирику новой искренностью чувства, опирался в своей работе не столько на классиков итальянской поэзии, которых он любил объявлять своими учителями, сколько попрежнему на французов, на Парни и Мильвуа. Пушкин причислял себя к «школе, основанной Жуковским и Батюшковым» и говорил, что, прежде всего, он ученик Жуковского, но учился он у Жуковского только новой гармонии русского стиха. Подлинными учителями Пушкина в его ранней поэзии были не Жуковский и даже не столько Батюшков, сколько Вольтер и другие французы XVIII в., прочно усвоенные им с детских лет. Политические взгляды, вернее, настроения юного Пушкина, теснейшим образом связанные с ранним периодом дворянского революционного движения, также складывались под большим воздействием на него Вольтера и идей французского просвещения. В свои позднейшие годы Пушкин критически оценивал влияние Вольтера на себя. Это отношение выразилось, например, в наброске 1836 г.:

В младенчестве моем бессмысленно-лукавом  
Я встретил старика с плешивой головой,  
С очами быстрыми, зеркалом мысли зыбкой,  
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой.

Но Пушкин сохранил до конца глубокую личную привязанность к своему «старому учителю» и, осуждая направление «Орлеанской девственницы», продолжал признавать ее произведением подлинной поэзии, стоящим много выше гораздо более благонамеренных поэм близкого ему в то время

Соути. Для Пушкина же лицеиста Вольтер—«муж единственный» и «поэт в поэтах первый». После лицея отношение к Вольтеру не меняется. Дух непочтительной вольтеровской насмешки над всем традиционным и признанным помогает Пушкину оформлять свои политические настроения («хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порою») и проникает во все стихи 1815—1820 гг.

Творческое освоение поэзии Байрона, утвердившей на место дерзкой и насмешливой непочтительности страстный пафос неподчинения существующей действительности и ее традиционным нормам, помогло Пушкину выйти за пределы французской поэтики XVIII в. Уже в 1821 г.—год создания «Гавриилиады»—он поднимается неизмеримо выше ее, но благотворный след увлечения французами XVIII в. останется у Пушкина навсегда, как навсегда останутся у него пристальный интерес к французской литературной культуре и глубокая и широкая его осведомленность в ней.

Ясность и точность мышления, простота и лаконичность выражения—эти индивидуально присущие Пушкину черты делали передовую французскую литературу еще более близкой ему из всех других иностранных литератур и способствовали плодотворности его обращений к ней. Эти же черты пушкинского творческого облика определяли не только своеобразие его пути в русской литературе, но и содействовали тому, что его поэзия свободно и органически установила стилистическую связь с просвещением XVIII в., а это—черта, резко выделяющая Пушкина среди современных ему великих поэтов Европы.

Период «ученичества» Пушкина у французов XVIII в. кончается очень быстро. В 1822—1825 гг. он уже решительно борется с «маркизами» и всей силой защищает «немцев и англичан». Но тогда как Байрон, Шекспир, В. Скотт помогали Пушкину в решении крупнейших задач создания национальной литературы, методов освоения новых тем и нового материала, знаменательно, что последний поэт, привлечший наибольшее творческое внимание Пушкина, был француз Шенье.

Отход Пушкина от французской поэтики не был изменой началам просвещения. Принимая и с гениальной силой развивая и обогащая те стороны французской традиции, которые полнее всего выразились в прозе Вольтера, Пушкин с величайшей решительностью отвергает придворную и салонную французскую поэзию, и в этой борьбе—смысл его «заступничества» за немцев и англичан. «Нам нужны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай театра Расинова»,—к этому, по существу, сводится антифранцузская позиция Пушкина в 20-х годах. Этой борьбой против французско-придворной традиции Пушкин как бы повторяет отчасти в русской литературе ту борьбу, которую за три четверти века до этого начали во Франции Руссо и Дидро.

Юношеский «вольтеризм» Пушкина, так же как пришедший ему на смену «байронизм» 1820—1824 гг. и «русско-пушкинский» (выражение И. Киреевского) реализм его зрелости, самым тесным образом связаны с тем революционным движением передовой дворянской интеллигенции, которое развернулось между 1816 и 1826 гг.

Идеология декабристов, этих «дворянских революционеров» (Ленин), как и все их движение возникли и развились на почве русской экономической и культурно-политической действительности первой четверти XIX в. Но это было, вместе с тем, первое широкое (широкое еще только в дворянском масштабе) движение, в котором активный вооруженный протест

против царизма и крепостничества сочетался с великими социально-политическими движениями Запада и с идеями европейского просвещения, среди которых на первом месте стояли идеи французского происхождения. Для движения декабристов, начертавших на своем знамени лозунги буржуазной революции—уничтожение самодержавия и крепостного права,—огромное определяющее значение имел, в первую очередь, опыт Великой французской буржуазной революции. Французская революция явилась тем всемирно-историческим этапом в борьбе с феодализмом, через который должны были пройти и другие феодально-монархические страны, в том числе и Россия. Декабристы начали буржуазную революцию в России, начали ее, исходя из опыта Франции, исходя из тех исторических задач, которые были поставлены перед русской действительностью грандиозными событиями 1789—1794 гг. Французская революция явилась, таким образом, определяющим историческим источником декабризма, и этому нисколько не противоречит тот факт, что для большинства декабристов якобинский этап Французской революции был неприемлем. Только крайний левый фланг тайных обществ, Соединенные славяне, сочувствовал массовой народной революции, но их идеология была неразвитой и незрелой. В оформлении идеологии декабристов большое значение сыграл и подготовительный этап Французской революции—французское просвещение. На влияние идей Монтескьё, Вольтера, Руссо, Рэнала, Гельвеция указали многие декабристы на следствии<sup>48</sup>. Для правого крыла декабристов и близких к ним либералистов, вроде Вяземского, характерна близкая связь с политической мыслью либеральной оппозиции эпохи Реставрации. Влияние Бенжамена Констан и г-жи де Сталь (особенно ее «*Considération sur la Révolution Française*») было чрезвычайно велико. Изучение этих французских либералов продолжается и в 30-е годы и идет совместно с изучением английского либерализма, но конкретный интерес к французам больше, так как французская политическая обстановка, с ее феодальными реакционерами и абсолютистской монархией Бурбонов, кажется ближе к русской. Одновременно идет увлечение политической экономией, историками и публицистами Франции, причем особенной популярностью пользуются Сэй, Гизо и Токвиль. Но особенно важно отметить политическую осведомленность передовых русских людей пушкинской эпохи в вопросах текущей французской политики. Эта осведомленность в течение всего периода 1815—1848 гг.—характерный признак политически передового русского человека. Франция и политика для всего этого периода—синонимы. Всякое ослабление интереса к Франции есть ослабление интереса к политике. Эта роль Франции накануне 14 декабря хорошо иллюстрируется одним местом из «Воспоминаний» позднейшего славянофила А. И. Кошелева. В 1824—1825 гг. он 17-18-летним молодым человеком принадлежал к обществу «любомудров», которые сочувствовали некоторым идеям декабристов, но мало интересовались политикой, занимаясь преимущественно изучением немецкой идеалистической философии. В феврале или марте 1825 г. Кошелев в обществе нескольких декабристов слушает политические стихи Рылеева и свободные разговоры «о необходимости—*d'en finir avec ce gouvernement*»). Наэлектризованный, он идет к своим друзьям—Ив. Киреевскому, Веневитинову и Рожалину—и заражает их своим политическим энтузиазмом. «Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенной жадностью налегли на сочинения Бен-

жамена Констана, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана»<sup>49</sup>. Естественно, что поражение декабристов и последовавшая за ним, в условиях николаевского царствования, политическая бесперспективность ослабили французские и усилили немецкие влияния в русской интеллигенции.

Общеизвестна роль Пушкина в деле создания русского национально-литературного языка. Поколение Пушкина и декабристов, столь французское и европейское по своему воспитанию и интеллектуальным связям, сумело, вместе с тем, нанести решительный удар французскому влиянию в области языка, русской культуры и русского просвещения, хотя и не смогло еще положить предел бытовому распространению французского языка в дворянском обществе. Судьба французского языка, как языка русского дворянства, складывалась вне прямой зависимости от общего хода русско-французских взаимоотношений. К 1789 г. французский язык настолько упрочил свое положение, как международный язык дворов, дипломатии и дворянства, что революция не поколебала его положения. Во время коалиционных войн он был общим языком врагов революционной и наполеоновской Франции, и не потому, что в армии и дипломатии союзников играли ту или иную роль французские роялисты, а потому, что, став у себя на родине языком революции, он остался, вместе с тем, международным языком аристократии. Положение его внутри каждой отдельной страны зависело не от отношения говорящих к современной Франции, а от способности национального языка стать полноценным языком современной образованности. Вот почему даже такое резкое обострение вражды к Франции, как то, через которое прошло русское дворянство в 1812 г., не пошатнуло положения французского языка в России. Русское дворянство во время и после наполеоновских войн говорило так же исключительно по-французски, как и до этого.

Борьба Ростопчина, Шишкова и их единомышленников против французского языка не могла сыграть решающей роли потому, что тот язык, который они предлагали,—основанный на соединении церковно-славянского с подделкой под крестьянскую речь,—не мог быть языком просвещения, не мог в плане национальной культуры заменить французский. Лишь Пушкин, со своими арзамасскими друзьями синтезировав существовавшие стили русской языковой культуры, с их богатством «европейских», особенно «французских» элементов, и безмерно обогатив их глубоким приобщением к подлинно-народному языковому творчеству, смог утвердить употребление русского языка, как всеобщего языка национального просвещения, и именно потому, что умел сделать его одним из европейских языков современной культуры.

На протяжении 30—40-х годов французский язык постепенно начинает терять и свое положение «родного» языка русского дворянства. С одной стороны, создание национального литературного языка, завершенное Пушкиным, лишало французский язык его былого резкого преимущества, как более разработанного языка мысли, с другой—политика уваровской официальной «народности», заставившая даже придворных дам одеть якобы русские платья, теснила его сверху. Уже в поколении, достигшем зрелости около 1825 г., такое явление, как Чаадаев, пишущий свое главное произведение по-французски, было исключением. И едва ли не последним по году рождения (1803) значительным деятелем русской культуры, который не в полной мере пользовался родным языком, был Тютчев,

писавший по-русски только стихи. Но Тютчев от 20 до 40 лет жил за границей, дипломатом, почти вне личного общения с деятелями русской культуры.

С переходом культурной гегемонии от дворянства к смешанной дворянско-разночинной интеллигенции и, дальше, к интеллигенции демократической, роль французского языка, как орудия духовного обмена образованных русских людей, кончается. Но французский язык еще долго продолжает сохранять свое значение, как своего рода культурно-сословный знак принадлежности к дворянству, и недаром уже в 80-х годах, в эпоху крепостнической реакции, Щедрин раскрывает идейно-политическую враждебность и реакционность дворянских групп и персонажей в своей сатире через их языковое французское выражение (например, в «Письмах к тетеньке»).

Литературное движение романтизма возникло почти одновременно в России и во Франции. Русский «романтизм» на своем первом, декабристском, дворянско-революционном этапе почти не заключал в себе каких-либо специфических романтических черт. Это было движение, прежде всего, боровшееся с догмами французского классицизма, освобождавшее поэтов от традиционных авторитетов и жанровых норм. Его первым положительным содержанием был байронизм. Для Пушкина байронический романтизм был только кратковременным (1820—1823) этапом на пути к реализму, но по русской терминологии 20-х годов реализм, например, «Бориса Годунова» полностью включался в понятие романтизма, так как произведение это не вмещалось в рамки классического жанра, и сам Пушкин в своем теоретическом предисловии подчеркивал, что пишет романтическую трагедию.

Развиваясь параллельно французскому романтизму, одновременно с ним отходя от норм французского классицизма и испытывая сильное воздействие Байрона, русский додекабристский романтизм не обнаруживает в целом особых влияний со стороны французских романтиков. Но связь с Францией продолжает быть очень крепкой. Именно через французскую литературу приходят в Россию и Байрон, и Шекспир, и Вальтер Скотт, и идеи немецких романтиков. Онегин «знал немецкую словесность по книге госпожи де Сталь»,—это был путь ознакомления с новой немецкой литературой и самого Пушкина.

«Первое определение романтизма,—указывает Б. В. Томашевский,—как направления, которое должно обновить литературу, Пушкин прочитал в книге M-me de Staël „О Германии“». Вообще значение г-жи де Сталь для Пушкина и его круга было очень велико. Пушкин хорошо знал все ее главные произведения, и они наложили отпечаток не только на его политические воззрения этого периода, но и на его концепцию национальной литературы. Идеи г-жи де Сталь и французского романтизма приготовили восприятие Пушкиным историзма Гизо и системы Шлегеля. Шатобриан, Ламартин и Андре Шенье также сыграли свою роль в романтический период Пушкина. Однако, восхищаясь Андре Шенье, Пушкин решительно и резко отрицает его принадлежность к романтизму. Из других явлений новой французской литературы до ее предиюльского расцвета Пушкин по-настоящему интересуется только «Адольфом» Бенжамена Констан. Вяземский переводит «Адольфа», и Пушкин признает этот перевод

«важным событием» в истории образования русского «метафизического языка», т. е. языка психологических понятий и переживаний, а в творчестве самого Пушкина «Адольф» Бенжамена Констан сыграл свою роль в генезисе самого замысла центрального произведения поэта—«Евгения Онегина».

В середине 20-х годов русский романтизм вступает в новый этап. С одной стороны, Полевой все энергичнее ведет пропаганду левого крыла французского романтизма, определенно буржуазного в своем социальном сознании. Свою философию он черпает из эклектической системы Кузена, этого, по словам Маркса, «истинного истолкователя трезвого, практического буржуазного общества», и «неистовую» французскую словесность рассматривает и приемлет не столько в качестве «нового метода художественного восприятия мира», что интересовало во французском романтизме Пушкина, сколько, прежде всего, в качестве «руководства к боевым действиям за построение буржуазной литературы». Гюго, Сю, Дюма, Жанен, позднее Бальзак находят в «Московском Телеграфе» Полевого (в последние годы его издания) свою подлинную русскую трибуну<sup>50</sup>. Одновременно в среде московских «любомудров» возникает группировка, сближающаяся с немецкой литературой, пропагандирующая «философский романтизм», враждебная французской традиции и объединяющая молодое поколение дворянской интеллигенции. Усиленный интерес к немецкой философии становится с этого времени характерной чертой русской интеллигенции. Особенно в 30-х годах в кружках уже не чисто дворянских, захваченных увлечением немецкой философией, зреют некоторые из важнейших всходов новой русской культуры. Значение этого усвоения немецкой идеалистической философии передовыми русскими людьми было очень велико, но все же и в пору наибольшего увлечения ею, в первую половину николаевского царствования, в области художественной литературы французские писатели остаются известнее и популярнее всяких других. Может быть, даже русский читатель никогда так внимательно не следил и не был так хорошо осведомлен о движении французской литературы, как в конце 20-х и начале 30-х годов. Это не была только инерция традиционного «франкоцентризма» русского читателя,—это диктовалось необычайным расцветом французской художественной литературы накануне Июльской революции, внезапным рождением сильной и яркой поэзии в стране, давно почти не имевшей подлинных поэтов, огромным подъемом французского романа в лице Бальзака и в то же время быстрым назреванием политической борьбы, разрешившейся Июльской революцией 1830 г., которая снова сделала Францию революционным сердцем мира.

Успех французских писателей 30-х годов у читателей был огромен. По переписке Пушкина можно видеть, как культурные читательницы дворянского круга, вроде Е. М. Хитрово и В. Ф. Вяземской, зачитывались и Бальзаком, и Гюго, и Альфредом де Виньи, и Жюлем Жаненом. Бальзак становится любимым писателем широких кругов дворянско-разночинной интеллигенции, Ламартин уже с начала 20-х годов—любимым поэтом дворянских читательниц, «героем альбомных стихов»<sup>51</sup>.

На фоне этого читательского интереса к новой французской литературе ее творческое влияние на русских писателей было сравнительно незначительным. Литература, выраставшая в самой тесной связи с открытой политической борьбой, в условиях широкой свободы печати, волновала и привлекала русского читателя николаевской эпохи, но творческому ее

освоению препятствовала глубокая противоположность социального и политического бытия двух обществ. «Неистовое» направление французских писателей и риторический стиль французских романистов не совпадали с тем реалистическим направлением, которое принимала русская литература в своих высших выражениях, а реализм Бальзака, отражавший развитое капиталистическое общество, был еще, для этой эпохи, по материалу своему достаточно чужд русскому социальному сознанию.

Пушкин, достигший полной зрелости своего гения и выбиравший предметы своего творческого интереса исключительно в соответствии с внутренними заданиями своего творчества, сочувственно изучает англичан и, в общем, отрицательно оценивает новую французскую литературу. Правда, его слова о «глубоком и жалком упадке нынешней французской словесности» не следует понимать слишком буквально, ибо они противостоят множеству частных отзывов его об отдельных произведениях не только Мюссе, Мериме и Сент-Бёва, которых он из этого упадка выделяет, но и Стендаля, Жюль Жанена и главных корифеев—Бальзака и Гюго. Все же ясно, что общий дух новой французской литературы ему органически враждебен: ему претит в ней забвение лучших французских качеств—ясности, стройности, простоты и остроумия, ему претит ее риторическое направление, ее искания «пустых эффектов», ее пристрастие к необыкновенному и неестественному, словом, ее полная противоположность его собственным устремлениям. Из всех новых писателей он творчески воспринимал только Проспера Мериме, в «Жакерии» которого находит полезные для себя указания для построения исторической драмы нового типа («Сцены из рыцарских времен»), но главный стимул этого влечения—в подлинных чертах героического фольклора сербов, которые он сумел разглядеть сквозь тонкую подделку «Гузль». Характерно, что вражда к новому направлению французской литературы сопровождалась почти демонстративным усилением уважения к французским классикам. В послании «К вельможе» XVIII столетие противопоставляется XIX, как век поэзии—эпохе прозы; в наброске сатиры на современную литературу он призывает Буало помочь ему в борьбе с «новейшими врагами», а в одной из последних своих статей признается, что предпочитает семь строк Вольтера чуть ли не всей новой французской поэзии<sup>52</sup>.

Но до конца своей деятельности Пушкин, созидавший огромное здание русского реализма, оставался верен передовым принципам европейского просвещения и образованности. Национальную культуру он понимал и творил не как культуру национально ограниченную, а как одну из великих европейских национальных культур, и, ставя ее под знак русской народности, обильно черпал из великих источников культурных ценностей, созданных народами Европы и, в первую очередь, Франции. Отсюда и идет та интернациональная широта народного русского гения Пушкина, о которой Мельхиор де Вогюэ сказал: «Если, как это иные думают, является большой заслугой быть понимаемым только в Москве, то, может быть, еще большая заслуга заставлять думать, плакать и улыбаться повсюду, где дышит человек; и Пушкину это удалось»<sup>53</sup>.

Если по отношению к зрелому Пушкину, покончившему с прямым ученичеством у французов очень рано, почти не приходится говорить о прямых влияниях на него тех или иных писателей Франции, то иначе обстоит дело с младшим поколением поэтов. Все они в той или иной степени продолжали широко обращаться к французской литературе, и даже

поэты, которым была ближе немецкая поэзия, не избежали этого. Так, например, риторическая поэзия Хомякова, если говорить об ее иностранных источниках, в большей степени обязана Гюго, чем кому-либо из немцев. Особенно плодотворно было обращение к французской литературе Полежаева, сумевшего найти в Ламартине и, особенно, в политической поэзии Гюго родственный материал для выражения своего трагического, полного отчаяния протеста против николаевской тюрьмы<sup>54</sup>.

Менее видны с первого взгляда, но не менее несомненны связи Гоголя с французской литературой и мыслью. Диапазон и интенсивность его интересов в этой области, естественно, уже и слабее, чем у воспитанного на французской культуре Пушкина. Для Гоголя гораздо ближе Шиллер и, особенно, немецкие романтики, у которых он находит ряд родственных социально-политических идей и черпает теоретические аргументы в пользу своего понимания философии искусства и философии истории. Тем не менее, не следует слишком преуменьшать значение французской литературной культуры для Гоголя и, особенно, степени его осведомленности в ней. Еще в период своего нежинского ученичества Гоголь знакомится с комедиями Мольера, пьесами Флориана и заинтересовывается сентиментально-моралистическими «Contes moraux» Мармонтеля, которые читает в подлиннике. Общение с Пушкиным и его кругом в сильнейшей мере способствует углублению и расширению французских интересов Гоголя. Пользуясь его указаниями, он проходит целый «курс» французской литературы, читает Корнеля, Расина, Лафонтена, Вольтера, Руссо, пристально изучает Мольера, знакомится с такими произведениями философской, моралистической и публицистической литературы, как «Опыты» Монтэня, «Мысли» Паскаля, «Персидские письма» Монтескьё, «Характеры» Лабрюйера. Занятия всеобщей историей обращают Гоголя к изучению сочинений Гизо, Тьерри, Мишле, Вильмэна и, что особенно примечательно, Стендаля, произведения которого «Прогулки по Риму» и «Пармский монастырь» входили в собранную им специально для своих занятий библиотеку и, как это недавно предположил В. А. Десницкий, оказали, возможно, свое воздействие на гоголевское восприятие Рима и на разработку его незаконченной повести, носящей название этого города.

В целом отрицательно оценивая современную ему французскую литературу, Гоголь, однако, не перестает следить и за ней. В его переписке мелькают имена Гюго, Бальзака, Дюма, Жюль Жанена, Сент-Бёва (с которым в 1838 г. он и лично познакомился), Ламартина, Мериме, о котором он помещает сочувственную статью в «Современнике», называя автора «Кармен» «бесспорно замечательным писателем 19-го века французской литературы». Вместе со своим поколением, хотя и по-своему, он высоко ценил дарование Жорж Санд и эту оценку не изменил и в свои последние годы. В «Авторской исповеди» он называет ее «известною французскою писательницей, более всех других наделенной талантами» и считает, что она «в немного лет произвела сильнейшее изменение в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей». В недавно опубликованном «Перечне авторов и книг», составленном Гоголем, повидимому, уже в последний период его жизни, упоминается, наряду с Мольером, Гизо, «Словарем Французской академии» и другими историческими изданиями, также и имя Андре Шенье, интерес к которому, возможно, был внушен стихами Пушкина<sup>55</sup>.

Таким образом, круг французских интересов и связей Гоголя был достаточно широк, и это определило ряд соприкасаний его творчества как с великим наследием французской культуры, так и с живыми движениями литературной современности Франции. Из прошлой литературы Гоголь полнее и плодотворнее всего усваивает Мольера, у которого он учится, прежде всего, глубокой драматургической разработке характеров и общей сценической технике<sup>56</sup>. Но, совершенствуя свое высокое комедийное искусство, Гоголь пристально изучает также комедии Корнеля, Бомарше и Лесажа. Как зачинатель русской «натуральной школы», Гоголь сочетает свои литературные искания с аналогичными движениями европейской литературы, и установленные исследователями связи его ранних повестей, в том числе «Невского проспекта», с произведениями французской «неистойвой словесности», особенно с романами раннего представителя западно-европейского натурализма, Жюль Жанена, не подлежат сомнению. Наконец, в своей публицистике последних лет он связан с некоторыми романтически-религиозными системами французских идеологов Реставрации, в частности, с системами Бональда и Балланша<sup>57</sup>.

Июльская революция 1830 г. произвела в России, как и во всей Европе, огромное впечатление. Отклики на нее были разнообразны. Все, что так или иначе продолжало или лелеяло традицию декабристов, все, что таило в себе элементы оппозиционности чудовищному гнету империи Николая, оживилось и насторожилось. «Вдруг блеснула молния, раздался громовой удар, разразилась гроза Июльской революции, — вспоминал через десять лет об этом времени Печерин. — Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Словно дух святой снизошел на них. Начали говорить новым, дотоле не слыханным языком: о свободе, о правах человека, и пр. и пр. Да чего тут еще ни говорили!..»<sup>58</sup>. Даже на правом крыле дворянского просветительства наступило политическое оживление, плодом которого явился «Европеец» Киреевского. Люди немецкой, метафизической, антиполитической ориентации вдруг сделали резкий шаг влево, к политике, к Франции, стали восхвалять XVIII в., переводить Гейне, отказываться от «крайностей» идеализма. Сами декабристы, в своем заточении «недвижимы, как мертвые в гробах», с тоской невозможности, но одновременно и с надеждой слушали раскаты июльских боев и их польские отклики. А. Одоевский в читинском остроге писал:

Едва дошел с далеких берегов  
Небесный звук спадающих оков—  
И вздрогнули в сердцах живые струны...<sup>59</sup>.

«Европеец», однако, был скоро закрыт, и закрытие его похоронило эту последнюю вспышку правого декабризма. Баратынский, пораженный поэзией Барбье, признавался с глубокой завистью, что эта поэзия «живой веры» в революционное действие «не для нас».

Но, с другой стороны, потрясенный 1830 г. Чаадаев выходит из своего одиночества и начинает ту своеобразную келейную пропаганду, которую злой и остроумный враг его, Денис Давыдов, называл «маленьким набатиком», но который, раздаваясь в глухое и мертвое время, не давал заснуть многим из лучших людей. Для многих пробудившихся от набата июльских дней пробуждение было роковым. Особенно трагична, в этом отношении, судьба замечательного русского человека Печерина, проснувшего

гося среди глухой ночи, не сумевшего найти пути, начавшего его, по собственному признанию, «республиканцем школы Ламенэ, коммунистом, сен-симонистом», затем, по выражению Герцена, «упавшего» в католический монастырь ордена редемптористов и кончившего слишком поздним трагическим пробуждением. Но в числе услышавших этот набат были и Лермонтов и Герцен с Огаревым.

Значение французского революционного романтизма для Лермонтова, как и значение параллельно усваивавшейся поэзии Байрона, было, несомненно, очень велико. Лермонтов прославляет Июльскую революцию, клеймит в ряде стихотворений Карла X; под непосредственным действием 1830 г. лермонтовские стихи 1830—1832 гг. проникаются революционными мотивами. Его юношеская повесть «Вадим» входит в систему «неистового» романа, и ее не без основания сопоставляют с «Бюг Жаргалем» Гюго. И тогда как Баратынский мог только завидовать публицистической силе Барбье, Лермонтов испытывал глубокое и благотворное влияние наиболее сильных сторон его поэзии. Интонации поэта-трибуна, которые с новой в русской поэзии силой раздались в «Смерти поэта», в «Поэте», в «Не верь себе», в «Думе», кое в чем восходят к Барбье, как к одному из сильнейших источников литературных впечатлений Лермонтова в эти годы<sup>60</sup>.

Вообще, судьба Барбье в России своеобразна: вспыхнув после июльских дней коротким, но ярким светом, он зажег больше огней в России, чем у себя на родине. Знаменательно, что такой антисоциальный и, по существу, обывательский, несмотря на свое большое мастерство, поэт, как Бенедиктов, прикоснувшись к Барбье, быть может, единственный раз в жизни поднялся до подлинно высокой политической поэзии в своем переводе «Собачьего пира», о котором с таким восторгом отзывался Т. Шевченко, утверждавший, что он выше подлинника<sup>61</sup>.

В то же время Июльская революция явилась могучим толчком, способствовавшим движению новой русской демократической мысли, неудержимо начавшей расти с начала 30-х годов. Созидателями русской демократической культуры в это время являлись, с одной стороны, Белинский, с другой — кружок Герцена. Для Белинского, его первого этапа, огромное значение имеет немецкая мысль. Для Герцена и его друзей, наследников пафоса дворянских революционеров 20-х годов, с самого начала преобладающую роль в их развитии играет Франция. Разбуженные из бессознательного состояния 14-м декабря, они были снова ободрены и оживлены набатом июльских дней. «Славное было время, события неслись быстро, — вспоминал позднее Герцен — ...Какое-то горячее революционное дуновение началось в прениях, в литературе...»<sup>62</sup>. Буржуазный исход революции 1830 г. и разгром польского восстания быстро потрясли веру в «беранжеровскую застольную революцию», но на почве разочарования политическими событиями и политическими учениями Лафайета и Бенжамена Констана окреп интерес к наиболее передовому направлению французской мысли того времени — сен-симонизму: «Новый мир толкался в дверь, — писал Герцен в «Былом и думах»; — наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-Симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном»<sup>63</sup>.

Первое знакомство с идеями Сен-Симона имелось уже у декабристов: еще в первые посленаполеоновские годы Лунин, один из замечательнейших и мужественнейших декабристов, лично познакомился с Сен-Симоном в Париже, причем последний настолько увлекся своим русским знакомым, что надеялся увидеть в нем впоследствии своего последователя. Есть

основания полагать, что и другие образованные декабристы, особенно Пестель, не прошли мимо такого явления французской мысли, как сен-симонизм. Но сущность этого учения не могла еще быть плодотворно освоена дворянскими революционерами, и, конечно, ни о каком «социалистическом» влиянии здесь не может быть и речи. Только Июльская революция во Франции и парламентская реформа в Англии, т. е. приход к власти «либеральной» буржуазии, впервые основательно дискредитировали среди наиболее передовых элементов Европы и России самую идею либерализма и вызвали пристальное внимание нашей интеллигенции к французскому утопическому социализму. Сен-симонизмом, как учением о новой организационной культуре, идущим на смену «критицизму» буржуазного просвещения, был глубоко заинтересован Чаадаев. Уже в сентябре 1831 г. он писал Пушкину: «Какое-то смутное чутье говорит мне, что скоро имеет явиться человек поведать нам истину, потребную времени. Кто знает, быть-может, это, во-первых, нечто вроде той политической религии, что Сен-Симон теперь проповедует в Париже... Отчего и не так? Какое дело, тем ли, иным ли способом будет дан первый толчок тому движению, которое долженствует завершить судьбы отечества!»<sup>64</sup>.

Для молодого Герцена сен-симонизм был важен не столько своей утопической, социалистической стороной, сколько тем, что это была новая и высшая демократическая форма гуманизма. Устранение религии без погружения в бесплодный скепсис, пафос науки, соединенный с широкими историческими обобщениями, освобождение человека от гнета собственной семьи и христианско-аскетической морали без впадения в вульгарный эпикуреизм—вот что привлекало Герцена к сен-симонизму. Изучение философии Гегеля помогло Герцену довольно быстро освободиться от мистических и фантастических элементов сен-симонизма, взяв из него то, что вошло в общее развитие социалистической мысли. И сен-симонизм сыграл огромную роль на этом первом этапе формирования русской демократической культуры.

Поскольку в 30-е годы еще не было предпосылок для сколько бы то ни было массового политического движения, естественно, что усилия дворянских демократов устремились в направлении конкретно близком. Раскрепощение женщины становится в центр внимания демократической мысли и, рядом с сен-симонизмом, приводит к всеобщему увлечению Жорж Санд.

Для новой дворянско-разночинной, демократической по своим устремлениям интеллигенции Жорж Санд была как бы символом нового русского гуманизма. Она лучше всего передавала те гуманитарные стороны французского утопического социализма,—в форме освобождения человеческой личности и, особенно, женщины, в форме сочувствия ко всем угнетенным и эксплуатируемым, в форме общей критики несправедливости современного строя,—которые, в первую очередь, привлекали русскую демократическую интеллигенцию на ее раннем этапе. Все «люди 40-х годов», а в большей своей части и «люди 60-х годов» прошли через глубокое увлечение Жорж Санд. Сам Белинский был страстно увлечен ею после перехода ее к социальной теме и к пропаганде идей Пьера Леру и писал в 1842 г. Н. А. Бакунину: «Занд—это решительно Иоанна д'Арк нашего времени, звезда спасения и пророчица великого будущего». В своих статьях он называл ее «первой поэтической славой современного мира». Кавелин вспоминал позднее, что «Жорж Занд и французская литература были нашим евангелием» («Воспоминания о Белинском») <sup>65</sup>. Щедрин признавал ее огромную

роль в формировании своего мировоззрения. Тургенев, узнав об ее смерти, назвал ее «одной из наших святых»<sup>66</sup>, а Достоевский, давно изменивший идеалам своей молодости, написал о ней умиленный и восторженный некролог, в котором с нескрываемым сочувствием и преклонением вспоминал то влияние, которое имела на него Жорж Санд в его юные годы. Она привлекала его «невьясненными идеалами, неразрешимыми желаниями, чистотой типов и идеалов красоты и нравственности»<sup>67</sup>. Жорж Санд вызывала восторженное отношение к себе кружка Герцена, ею восхищался в конце 40-х—начале 50-х годов Чернышевский, видевший в ее романе «Жак» программу для своего собственного поведения. Бакунин, а позднее и Тургенев находились с ней в личных дружеских отношениях<sup>68</sup>.

Общие социальные идеи Жорж Санд, ее проповедь сочувствия угнетенным и служения человечеству в целом, ее убеждение, что личное страдание является следствием общественного строя, нашли широкое отражение в русской литературе 40-х годов. Для ряда же произведений установлена и прямая связь с романами Жорж Санд. В первую очередь, здесь нужно назвать, помимо повестей Е. Ган, сочувственно оцененных Белинским, «Кто виноват?» Герцена, «Полиньку Сакс» Дружинина, «Что делать?» Чернышевского, отчасти «Записки охотника» Тургенева, ряд страниц Салтыкова и Достоевского и др. Жорж Санд имела, таким образом, громадное и длительное действие и в художественной литературе и в общественной мысли России, способствуя формированию социалистической идеологии в среде русской демократической интеллигенции 40-х годов. И в богатой истории интернациональных влияний Жорж Санд нет более крупной и содержательной главы, чем глава о ее роли в России,—недаром и лучшая монография о писательнице принадлежит русскому автору<sup>69</sup>.

Переход от 30-х к 40-м годам, основной вехой которого были отказ Белинского от правого гегельянства и его сближение с Герценом, означал победу «французской» ориентации над «немецкой». «Немецкая» ориентация вовсе не была сама по себе реакционной. Восприятие немецкой идеалистической философии, сперва наиболее положительных сторон раннего шеллингианства, потом диалектики Гегеля, а также материалистической философии Фейербаха дало Белинскому ту теоретическую глубину, которой он не почерпнул бы ни из какого другого источника.

Герценовская пропаганда французских социалистических идей в условиях 30-х годов не могла выйти за пределы крайне узких и разрозненных кружков, подобного тому, который изобразил в автобиографической «Исповеди лишнего человека» Огарев:

Я помню комнатку аршинов в пять,  
Кровать да стул, да стол с свечью сальной...  
И тут втроем мы—дети декабристов  
И мира нового ученики,  
Ученики Фурье и Сен-Симона,—  
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь  
Народу и его освобожденью,  
Основую положим сощьялизм,  
И чтоб достичь священной нашей цели,  
Мы общество должны составить втайне...<sup>70</sup>.

Такие кружки и общества легко ликвидировались жандармами, а всякие попытки пропаганды печатным словом немедленно пресекались цензурой.

Около 1840 г. наступает перелом. Николаевская ночь начинает сереть, и если внешние силы реакции остаются прежними, их внутренний гнет на сознание начинает терять свою силу. Глухие подземные толчки нарастающей крестьянской революции получают отражение во все большем подъеме революционных настроений среди демократической интеллигенции, получающих свое высшее выражение в письме Белинского к Гоголю. Ясного сознания своего единства с крестьянской революцией у русской демократической интеллигенции, за исключением, быть может, одного Белинского, еще нет,—к этому сознанию она придет только на следующем этапе, в лице Чернышевского. Тем сильнее сознание единства с нарастающей революционной борьбой во Франции и ее идеологическим выражением в разнообразных системах утопического социализма. «Когда осенью 1843 г. я прибыл в Петербург,—писал в «Замечательном десятилетии» П. В. Анненков,—то далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни. Книга Прудона «De la Propriété», тогда почти-что старая; «Икария» Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников, гораздо более ее распространенная и популярная система Фурье,—все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода... Книги названных авторов были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему изучению и обсуждению, породили, как прежде Шеллинг и Гегель, своих ораторов, комментаторов, толковников, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников. Теории Прудона, Фурье, к которым позднее присоединился Луи Блан с известным трактатом «Organisation du travail», образовали у нас особенную школу, где эти учения жили в смешанном виде и исповедывались как-то зараз адептами ее»<sup>71</sup>.

Но в 40-х годах еще отчетливо различимы два этапа. Белинский и Герцен, носившие в себе с самого начала своей деятельности зерна революционно-демократической идеологии, достигают полной зрелости своего демократического сознания только на втором из этих этапов, который для Белинского был последним. В позднейшем представлении «сороковые годы»—это, прежде всего, первый из этих двух этапов, момент, когда политика далеко не получила гегемонии, когда эстетика играет центральную роль, когда учителем остается Гегель, уже понятый, как создатель «алгебры революции», но все еще не преодоленный в его элементах «абсолютного идеализма», когда религия, уже потеряв свой авторитет, еще не стала врагом, когда, одним словом, «французское» направление еще уравновешивается «немецким». В атмосфере этих 40-х годов сложились основные кадры последнего поколения русской дворянской литературы—Тургенев и его круг. Это люди, знающие и любящие Париж, но отнюдь не враждебные его буржуазии и нисколько не увлеченные той революционной и социалистической Францией, которая стала светочем для людей второго этапа 40-х годов. Этими людьми второй половины 40-х годов были, во-первых, Герцен и Белинский,—Герцен «Писем из Avenue Marigny» и Белинский «Письма к Гоголю»,—во-вторых, молодые люди, бывшие лет на десять моложе их и активным ядром которых был кружок Петрашевского. Люди эти были социалистами, восторженными приверженцами французского утопического социализма—и, прежде всего, уже не Сен-Симона, а Фурье,—увлеченными читателями «Истории десятилетия» и «Истории Французской революции» Луи Блана, поклонники Жорж Санд

периода ее социальных романов. О том, чем была передовая Франция для этих людей, удивительные и незабываемые слова написал принадлежавший к их числу Салтыков-Щедрин в гениальной четвертой главе «За рубежом»:

«С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юности, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание... Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное—все шло оттуда... В особенности эти симпатии обострились около 1848 г. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана... Луи-Филипп и Гизо, и Дюшатель, и Тьер все это были как бы личные враги... успех которых огорчал, неуспех радовал. Когда грянула февральская революция, энтузиазм дошел до предела. Даже ламартиновское словесное распутство—и то не претило среди этой массы крушений и нарождений. Громадность события скрадывала фальшь отдельных подробностей и на нее набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес»<sup>72</sup>.

В России февральская революция, вызвавшая взрыв восторга среди демократической интеллигенции, привела к правительственной реакции, еще более свирепой, чем прежде. Салтыков уже в мае был в вятской ссылке, отправленный туда за напечатание повести «Запутанное дело», в которой, как гласило обвинение, «оказалось вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу». Белинский в том же месяце «во-время умер». Петрашевцы были разгромлены в следующем году. Самодержавие наглухо замкнуло страну от «крамольной» Франции и Европы жандармскими и цензурными заслонами. Наступило то страшное семилетие реакции, в сравнении с которой даже николаевский режим 40-х годов казался либеральным,—семилетие, о котором пережившие его вспоминали с содроганием. Но под гнетом его уже зрел революционный гений Чернышевского, а во-время уехавший за границу Герцен высоко поднял там в эти годы факел русской демократической мысли.

Но чем восторженнее была вера в революционную Францию, тем ужаснее было так быстро наступившее крушение этой веры. Оно началось со «страшных июньских дней» (Герцен), когда французская буржуазия руками Кавеньяка с неслыханной жестокостью подавила восстание парижского пролетариата, и завершилось «позором 2-го декабря», когда «Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию» (Щедрин).

Трагический исход 1848 г. глубоко переживали не только русские демократы, но и такие либералы, как Тургенев, в произведениях которого еще долго звучали отклики катастрофы революции. Герцен, бежавший из «страны победившей реакции», из Парижа, где ему стало «невыносимо тяжело», с глубоким лиризмом рассказал о крушении своих надежд в «Письмах из Франции и Италии» и в очерках «С того берега»—замечательных вехах в истории русского «западничества». Вера в революционную Францию кончилась. Но началась вера в революционную Россию. «Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище,—писал Герцен:—страны, где

остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм... Деспотизм или социализм—выбора нет... А между тем Европа показала удивительную неспособность к социальному перевороту. Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему... На этом основана наша вера в ее будущность».

Герцен в эти послеиюньские годы придал своей вере романтическую форму веры в крестьянскую общину—якобы, ячейку будущего русского социализма. У Чернышевского несколько позднее она стала конкретной «верой в возможность крестьянской революции» (Ленин), в подготовке к которой заключалась вся задача русской демократии. Около того же времени, когда Герцен писал свое известное «письмо» к Ж. Мишле («Русский народ и социализм»), пытаясь доказать в нем, что русский крестьянин—прирожденный социалист, Чернышевский утверждал, что в России «скоро будет бунт», и заявлял, что, когда он вспыхнет, он будет непременно участвовать в нем и его «не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня». Так впервые русский просветитель стал во всем конкретном смысле слова крестьянским революционером.

А «письмо» Герцена к Ж. Мишле, при всей фантастичности его аргументации,—важная веха в международной истории русской культуры: впервые представитель молодой России заявлял всей передовой Европе, в лице одного из вождей французской демократии, что, кроме России царской и помещичьей, жандармской и православной, есть другая Россия—народная и революционная, и что этой России предстоит будущее не менее великое, чем будущее «матери революции», Франции.

Поражение революции 1848 г. и торжество контрреволюционных сил образуют переломный момент в истории русско-французских культурных взаимоотношений. До 1848 г. Франция играла в отношении многих форм и направлений русской культуры роль активной, ведущей и передовой страны. Хотя в основных своих направлениях русская литература всегда шла своим самостоятельным, оригинальным путем, хотя уже с начала 20-х годов, в высших своих проявлениях, она стала равной всякой другой национальной литературе Запада, хотя, наконец, эстетическая теория, в лице Белинского (а затем, и особенно, Чернышевского и Добролюбова), достигает в России уровня, выше которого она может подняться только уже на основе научного коммунизма,—все же французские революции, французский утопический социализм, французская демократическая идеология, французские историки и, в значительной мере, французская художественная литература до 1848 г. играют для передовых русских людей роль ценнейших идеологических источников и сохраняют, во многих случаях, значение образцов и примеров.

После 1848 г. положение постепенно начинает изменяться. С одной стороны, французская литература вступает в период Второй империи, в начало той исторической фазы своего развития, когда враждебность капитализма искусству и поэзии сказывается уже не только в романтическом отрицании капиталистической действительности или ее реалистической критике, как у Бальзака, а в начинающемся идейном обеднении самого содержания искусства, хотя и продолжающего создавать на буржуазной почве великие произведения, великие культурные ценности. С другой стороны, в России в 50—70-е годы наступают эпоха широкого революционно-демократического движения и время замечательного подъема и расцвета русской литературы, наступает свой, русский «век просвещения»,

отличающийся от своего далекого французского прототипа не только краткостью, но и гораздо более радикальным, демократическим, плебейским характером.

Великие писатели, строившие в 50—70-х годах огромное здание русского реализма, сложились в 40-е годы, когда французская литература сохраняла для русской еще большое значение, и не могли не испытать ее сильных воздействий. Но общий характер русского реализма второй половины XIX в. глубоко отличен от аналогичного течения во Франции, широко утвердившегося в эту же эпоху. Корень различия — в ином историческом положении по отношению к национальной буржуазной революции. По определению Ленина, это была та всемирно-историческая эпоха, «когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела»<sup>73</sup>. Для французских реалистов революция позади. Они имеют дело со сложившимся капиталистическим обществом. Рабочего класса они еще не видят. Они живут в мире, где законы буржуазной борьбы за существование царствуют безраздельно. Борьба демократического буржуа против буржуа монархического и до 1830 г. против воскресшего из гроба аристократизма — борьба за свои кровные, личные интересы, «борьба молодого хищника против хищника старого» (Чернышевский). Отсюда у Стендаля героизация чисто буржуазного индивидуализма, когда он сочетается с борьбой плебея против аристократии. В этих условиях Бальзак мог охватить буржуазный мир во всю ширину и глубину, дать портрет целого класса, портрет глубоко критический, резко осуждающий все движущие силы буржуазного мира.

Для русских реалистов мир еще не стал до конца буржуазным. Пути национального развития еще не ясны. Развитие русского капитализма может пойти по «прусскому» или «американскому» пути. Отсюда сознание возможности активно воздействовать на историю и, следовательно, сугубо оценочное отношение к своим героям. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин писал: «Если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»<sup>74</sup>. Великие русские реалисты второй половины века, действовавшие на исторической арене в эпоху подготовки крестьянской революции, именно тем и велики, что в своих произведениях, и как художники и как публицисты, отразили черты исторического своеобразия эпохи собирания сил русской революции. Русские реалисты глубоко проникнуты сознанием не совершившейся еще крестьянской революции и не могут не оценивать всего с точки зрения ее перспектив. Позиции их в отношении этой революции разные, но оценки действующих лиц всегда зависят от их отношения к народу.

Общая идейно-политическая направленность русского реализма резко отличается, таким образом, от французского реализма, на смену которому во второй половине XIX в. великие русские реалисты приходят в качестве главного и передового отряда мировой литературы. Это глубокое различие между русским и французским реализмом не исключает, разумеется, того, что французская культура как в ее прошлом, так и в настоящем была воспринята в той или иной степени всеми великими русскими писателями 50—70-х годов. Меньше всего, пожалуй, тем, который позже так близко стоял к французской литературе, участвовал в ее строительстве и кому суждено было стать русским учителем французских писателей.

Поэтика Тургенева целиком выросла на освоении наследства Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Из французских влияний он творчески воспринял в свои поздние годы кое-что от Флобера и Бодлэра, о чем нам придется сказать ниже, а в молодости от Жорж Санд, пройдя, как и все «люди 40-х годов», через увлечение ею, но, главное, заинтересовавшись ее крестьянскими повестями, сыгравшими некоторую роль в литературном генезисе «Записок охотника». Несмотря на личные связи и литературное сотрудничество с большинством крупнейших писателей Франции 50—70-х годов (не говоря о дружбе с Мериме и, особенно, с Флобером, он общался с Жорж Санд, В. Гюго, Э. Гонкуром, Э. Золя, Г. де Мопассаном, И. Тэном, Э. Ренаном, М. Дю-Каном), Тургенев скорее отрицательно и, во всяком случае, скептически относился к современной ему французской литературе, сочувственно выделяя из нее лишь немногие произведения, в частности, «Госпожу Бовари» Флобера—«бесспорно самое замечательное произведение новейшей французской школы». Ко Второй империи Тургенев относился резко-враждебно, литературу наполеоновской Франции он рассматривал, как литературу начавшегося «упадка» и «измельчания», и противопоставлял ей «жизненную правду и простоту» русского реализма. Рельефнее и резче всего этот взгляд Тургенева выражен в его предисловии (1868) к русскому переводу романа Максима Дю-Кана «Утраченные силы». Тургенев отмечает здесь, что период культурной гегемонии Франции в России кончился, что время огромной русской популярности Бальзака и других французских писателей в 30—40-е годы прошло и что русский писатель 50—70-х гг. уже, несомненно, предпочитал им Толстого<sup>75</sup>.

Что касается творческого влияния Бальзака на великих русских реалистов, то в целом оно было не особенно значительным. Ближе всех к нему, пожалуй, Писемский. «Тысяча душ»—быть может, самый «бальзаковский» по литературной манере роман в русской литературе: та же преобладающая роль, отведенная вопросам карьеры и наживы, то же отсутствие столь характерной для русской литературы всепроникающей моральной оценки действующих лиц. Но, конечно, желчная мизантропия Писемского очень далека от огромной жизневорящей силы великого француза. Бальзаком интересовались Пушкин и Кюхельбекер, особенно последний<sup>76</sup>. «Школу Бальзака», хотя и в слабой степени, прошли также молодой Тургенев, отразивший в «Месяце в деревне» свои литературные впечатления от бальзаковской «Мачехи», и Гончаров, в «Обыкновенной истории» которого имеются элементы творческих заимствований из «Утраченных иллюзий» и «Физиологии брака». Бальзака высоко ценил Щедрин. Но глубже всех воспринял Бальзака Достоевский. В молодости он восторженно увлекается им, переводит «Евгению Гранде»; для него—«Бальзак велик! Его характеры—произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека». Достоевского, в отличие от Писемского, сближают с Бальзаком драматизм и динамичность рассказа, а также чуждая вообще другим русским романистам резкость красок, гиперболичность и заостренность характеров, отсутствие полутонов и мягких контуров, утвердившихся в русском реалистическом романе со времени «Евгения Онегина». Но Достоевского интересует в Бальзаке и другое. Критика буржуазной цивилизации Запада, показ гибели патриархальности, деградация человека, разложение семьи и буржуазной морали, всевластие денег и торжество буржуазного хищника,—все эти бальзаковские темы глубоко волновали

Достоевского в его страстных размышлениях о судьбах старой Европы и ее культуры. Бальзак был одним из самых сильных и длительных литературных впечатлений Достоевского. От юношеских восторгов при чтении «Евгении Гранде» до предсмертной «пушкинской речи» Бальзак сопутствует его творческой работе, ни в чем не нарушая ее самобытного развития, но оставляя в ней свои заметные следы. Известна роль «Отца Горио» и рассказанной в этом романе истории его героя Растиньяка в литературном генезисе «Преступления и наказания» и образа Раскольниковова. Но «бальзаковские» черты проступают и во многих других вещах Достоевского, от «Нечочки Незвановой» и до «Братьев Карамазовых». И не бальзаковская ли критика французского буржуазного общества отчасти подготовила восприятие Достоевским «царства Ваала»—Парижа Второй империи и его героя—«удовлетворенного буржуа», которым посвящены гениальные по своей памфлетно-негодующей силе французские главы в «Зимних заметках о летних впечатлениях» («Ваал», «Опыт о буржуа», «Брибри и мабишь» и др.)?

Наряду с Бальзаком, Достоевский глубоко воспринимает творчество Гюго, особенно Гюго-романиста, которого считает «беспорно сильнейшим талантом, явившимся в девятнадцатом столетии во Франции». С Гюго Достоевского сближает, несмотря на все различие их политических устремлений, некоторая общность творческих методов, например, тяготение к сложной архитектонике романов, но главное—общность интересов к широким социальным явлениям, гуманитарно-моралистический подход к ним, тема «униженных и оскорбленных». Главную заслугу Гюго Достоевский видел в том, что он провозгласил идею «восстановления погибшего человека» и дал «формулу оправдания униженных и всеми отринутых париев общества»<sup>77</sup>. Наибольшее литературное действие на Достоевского оказывают «Отверженные» и «Последний день приговоренного». К этим «любимейшим» книгам тянутся многие нити со страниц таких произведений, как «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы». Бальзак и Гюго стоят в центре французских литературных интересов Достоевского, но круг их широк и разнообразен. Паскаль и Мольер, Руссо и Вольтер, Жорж Санд и Шарль Фурье, Кабе и Дезами, Эжен Сю и Фредерик Сулье,—все эти имена хорошо известны Достоевскому, их книги, как всегда у него, были прочитаны им со страстной заинтересованностью—сочувственной или полемической—и нашли свое отражение в его собственном творчестве<sup>78</sup>. Враждебно относясь в свои зрелые годы к современной ему Франции, как к стране «безбожия», революций и «мещанства», Достоевский позднее переносит свои антипатии отчасти и на новейшую французскую литературу. Кумиры его молодости—Бальзак, Гюго, Санд—сохраняют свою притягательную силу, но такие явления, как Флобер и Золя, уже не вызывают особо пристального его внимания, хотя до последних дней Достоевский не перестает интересоваться французской литературой и широко обращается к ней в процессе своего творческого труда<sup>79</sup>.

Но едва ли не глубже и шире, разностороннее всех своих современников знал и воспринял французскую литературу величайший из писателей «периода 1861—1905 гг.»—Лев Толстой, оказавший, в свою очередь, глубокое влияние на французскую мысль. Он внимательно следил за французской литературой на протяжении всей своей жизни, пристально изучал ее прошлое, хорошо знал не только художников слова Франции, но и французских историков, моралистов, публицистов. Но, в отличие

от страстных реакций Достоевского, непосредственные впечатления от изучения французских писателей сравнительно мало отразились в художественной и публицистической прозе Толстого.

Особенно связан Толстой с Руссо. Толстой любил признавать свой большой долг «женевскому философу» и его влияние на себя считал «великим и благотворным». «Многие страницы его [Руссо],—признавался Толстой,—так близки мне, что мне кажется я сам написал их». Внутреннее родство между руссоистской идеологией «естественного человека» и толстовской органической враждой к дворянско-буржуазной цивилизации несомненно, как несомненно и глубокое, творчески-интимное восприятие Толстым ряда положений и мыслей Руссо. Но Руссо никогда не превращался для Толстого в фетиш, и отношение его к нему было критически-самостоятельным. «Меня сравнивают с Руссо,—записывает Толстой в дневнике 6 июня 1905 г.—Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отрицаю лжехристианскую. То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть в нем жизнь,—как рост дерева».

В чисто художественном отношении Толстой воспринял много от Стендаля, который, после Пушкина, имеет наибольшее право называться его учителем. «Я больше чем кто-либо, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну»,—говорил Толстой в 1901 г. В дальнейшем, при резко отрицательном отношении к французскому натурализму, в частности, к Флоберу и, особенно, к французскому декадентству (Бодлэру, Верлену и др.), Толстой высоко ценил гуманистические тенденции Гюго (хотя стиль и метод Гюго совершенно противоположны толстовскому), «народный, благородный, нравственный и бодрый» «склад» Беранже и уже в старости полюбил Мопассана, переводил и переделывал его и написал о нем замечательную статью. В этом последнем большом реалисте буржуазной Франции Толстой разглядел трагическое отчаяние и одиночество человека в собственническом обществе, отчаяние и одиночество, которые были так мучительно знакомы и ему<sup>80</sup>.

Если русская реалистическая проза к 60-м годам заслонила всякую иностранную и значение литературного «ввоза» в этой области резко падает<sup>81</sup>, то, наоборот, значение переводной, в первую очередь с французского, поэзии в России никогда не было так велико, как в 60—70-е годы. Из русских поэтов демократического читателя полностью удовлетворяет лишь Некрасов. Но его одного недостаточно, а эпигонствующая дворянская поэзия, естественно, не пользуется популярностью. Этот недостаток восполняют иностранные поэты. Среди них одно из первых мест принадлежит Беранже. Этот замечательный поэт был известен в России уже с 20-х годов, однако, по выражению Чернышевского, его тогда «не понимали, считая его не более как певцом гризеток». Его высоко ценили в 40-е годы Белинский и петрашевцы, но лишь 60-е годы приносят ему настоящую популярность. Блестящие переводы В. Курочкина и известная статья Добролюбова делают его подлинно «русским» поэтом и определяют его значительное влияние на сатирический стихотворный фельетон 60-х годов и на поэтов «Искры»<sup>82</sup>. Наряду с Беранже, демократический читатель по-новому начинает любить Гюго, автора «Отверженных». Русский успех этого романа, хотя и запрещенного в отдельном издании самим Александром II, был очень велик, и Боборыкин прав, говоря, «что он едва ли

надолго не остался самым популярным у нас, вплоть до 70-х годов»<sup>83</sup>. Огромный успех имеет также «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана, которую Писарев выдвигает, как подлинно демократический роман, изображающий историю с точки зрения человека массы. В области театра, имеющего уже Грибоедова и Гоголя, Островский и Сухово-Кобылин окончательно утверждают господство русской драматургии, русского национального репертуара, и значение переводных французских пьес сильно падает. Но связи с французским театром не порываются, Мольер по-прежнему остается «одним из классиков русской сцены» (С. А. Венгеров), школу которого проходит и творец русской бытовой комедии, Островский, завершающий свою литературную деятельность переводами из любимого писателя. Из новейших французских драматургов особенное внимание привлекает Скриб, у которого Сухово-Кобылин учился некоторым приемам драматургической техники<sup>84</sup>.

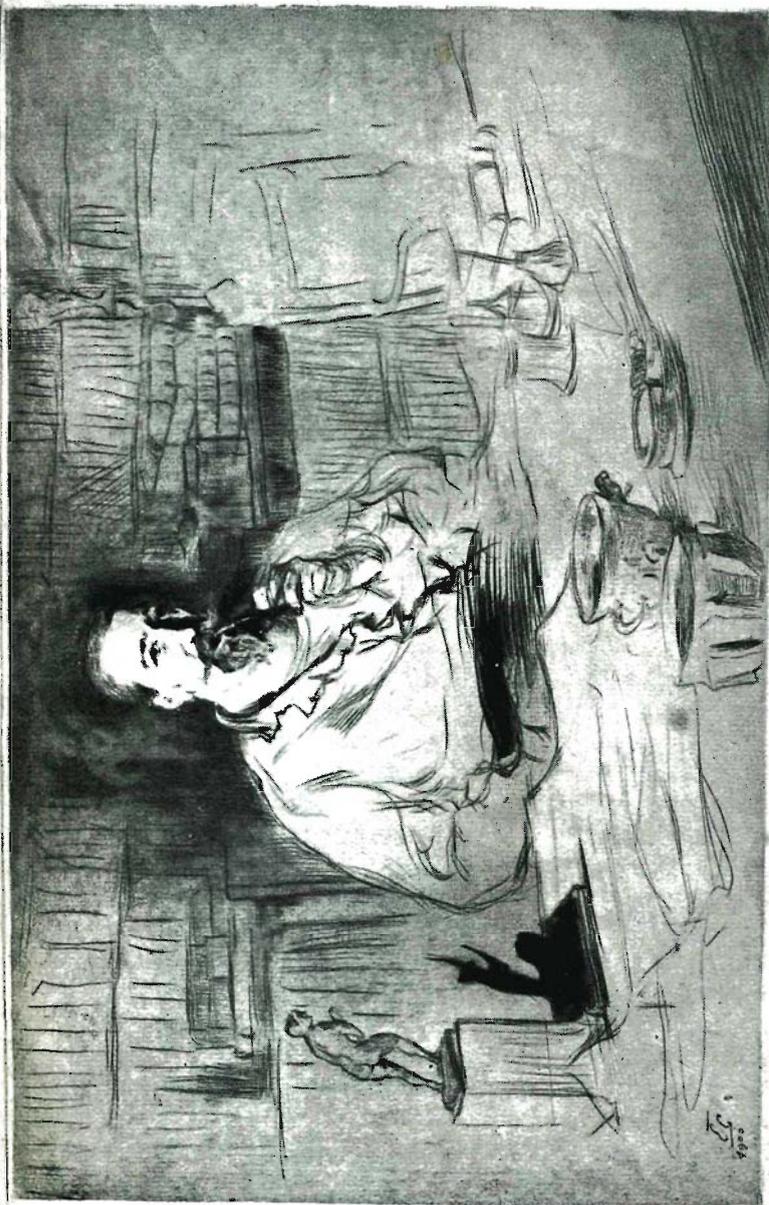
В политической мысли значение Франции для русской демократии отнюдь не окончилось с 1848 годом. Предстоял еще 1871 год. Но уже с 50—60-х годов социалистическая Франция перестает играть в отношении России свою прежнюю столь выдающуюся и глубоко плодотворную роль. В лице Чернышевского—«великого русского ученого» (Маркс)—русская социалистическая мысль поднимается выше всех форм мелкобуржуазного социализма и достигает наивысшего уровня, возможного для непролетарского социализма. В лице того же Чернышевского и Добролюбова Россия выдвигает двух великих революционно-демократических просветителей, которые, по мнению Энгельса, назвавшего их «социалистическими Лессингами», намного превзошли современную им официальную социально-политическую науку Франции и Германии и которые были на-голову выше корифеев французского мелкобуржуазного утопического социализма после Фурье. Но и Чернышевский и Добролюбов были многим обязаны передовой французской культуре. Они пошли дальше своих французских предшественников и учителей, сблизили теорию и философию с практикой и политикой, преодолели многие их слабые стороны и, наоборот, гениально развили то, что было в них революционно-демократической силой, а не мелкобуржуазной ограниченностью, но в ряде теоретических источников революционного мировоззрения великих русских просветителей французские материалисты XVIII в., особенно Гельвеций и французские социалисты-утописты Сен-Симон, Фурье, Прудон, Луи Блан, Бланки, занимают одно из важнейших мест. Как писатель, Чернышевский особенно обязан Фурье. Достаточно напомнить здесь знаменитый четвертый сон Веры Павловны в «Что делать?», дающий в художественной форме исключительно яркую картину осуществления центральных идей Фурье о радостном труде («travail attrayant») и об огромном росте культуры в будущем освобожденном обществе. Чернышевский сумел сделать привлекательными самые ценные из идей Фурье, то, что является бессмертным в его учении, но, вместе с тем, он решительно порвал с его и других «мирных» утопистов надеждами на добрую волю власть имущих, считая неизбежной предпосылкой построения социализма по плану Фурье или Луи Блана революционный переход власти в руки трудящихся. После Чернышевского, давшего в ряде своих работ блестящую популяризацию, углубление, развитие и, вместе с тем, критику Фурье (равно как и Сен-Симона—в статье «Июльская монархия»), сам фурьеризм в его французских первоисточниках уже не имел непосред-

ственного влияния на развитие русской общественной мысли. Фурье был заслонен огромной фигурой Чернышевского, который на ряд десятилетий сделался лучшим учителем русской революционной демократии.

Но после 1863 г., когда реакция стала уже совершившимся фактом, а русское революционное движение, в связи с арестом Чернышевского и смертью Добролюбова, лишилось своих самых замечательных вождей и теоретиков, влияния французской мелкобуржуазной социальной мысли вновь хлынули широкой волной. С конца 60-х годов начинается сильное и длительное влияние на революционное народничество главного теоретика мелкобуржуазного социализма Франции, Прудона, которого Маркс в «Коммунистическом Манифесте» назвал представителем «буржуазного социализма», и его антипода, революционного мелкобуржуазного социалиста Бланки. Русское народничество нашло в Прудоне одного из наиболее близких себе мыслителей, своего теоретического учителя, особенно в экономических вопросах, влияние которого сказывалось вплоть до появления русского марксизма и свидетельствовало о том, как это отметил по поводу Михайловского Ленин, что теоретическая мысль народников сделала «шаг назад от Чернышевского»<sup>85</sup>. Противоречивость и эклектичность мировоззрения Прудона и всех его социально-политических взглядов, в которых революционные фразы смешивались нередко с самым консервативным и даже реакционным содержанием, объясняют то, почему в России из Прудона черпали свою аргументацию и опирались на него самые разнообразные направления народничества и даже представители весьма далеких от него общественных групп. В частности, значительное влияние в 60-е годы имели идеи Прудона на Толстого. Чисто прудоновская ненависть к деньгам, как к главному источнику царящего в мире зла, особенно ярко проявившаяся в известной толстовской сказке «Об Иване-дураке», мечты о независимости мелкого производителя-крестьянина от власти капиталиста и помещика, наконец, отрицание государственной власти и проповедь пассивного бойкота ее,—все эти черты мировоззрения Толстого имели много общего с типичными и любимыми идеями Прудона и обусловили сильный интерес к нему русского романиста. Интерес этот был настолько интенсивен, что в 1861 г. Толстой специально ездил в Брюссель с рекомендательным письмом от Герцена и познакомился с жившим там в изгнании Прудоном. Впоследствии Толстой, вспоминая об этой встрече, говорил, что Прудон оставил в нем впечатление «сильного человека», самостоятельно мыслящего, и что он стал к Прудону «в самые близкие отношения». Как известно, название романа Толстого «Война и мир» было заимствовано им от заглавия известной философско-исторической работы Прудона на эту тему<sup>86</sup>.

Если влияние французских мелкобуржуазных идеологов на русскую революционно-теоретическую мысль в 60—70-х годах не играет уже той прогрессивной роли, которую оно играло в России в период 30—40-х годов, до Чернышевского включительно, если и у себя на родине, где уже в это время стали широко известными взгляды основоположников научного коммунизма, французский мелкобуржуазный социализм теряет свое бывшее значение, то скоро положение в самой Франции резко меняется и вновь приковывает к ней внимание всего передового человечества, в том числе и его русской части.

Пока мелкобуржуазная французская демократия идейно мельчала и «снижала тон», росла другая французская демократия—пролетарская,



Мариус Шахина

в подарок от Мариус Аузера,  
который написал эту картину  
в 1890 году в Москве.  
Анатолий Франс

АНАТОЛЬ ФРАНС

Портрет с дарственной надписью писателю Мариус Ауэр

Гравюра Эдгара Шахина, 1900 г.

Собрание М. Л. Ауэр-Унковой, Москва

еще раз с небывалым героизмом утвердившая революционное первенство французского народа.

Страна, совершившая Великую буржуазную революцию, явилась колыбелью социалистической революции. Парижские рабочие, штурмовавшие твердыни буржуазного мира в 1871 г., открыли новый период человеческой истории, заверченный русским пролетариатом и его партией в октябре 1917 г. За парижскими коммунарами остается вечно-неувядаемая слава первого установления диктатуры пролетариата. Но ни один из идеологов французского мелкобуржуазного социализма не сумел понять значения и задач первой победы пролетариата. Понял «тайну» Коммуны Маркс, и гениально истолкованный им опыт парижских коммунаров был одним из важнейших теоретических оснований, на котором построили победу русского пролетариата Ленин и Сталин.

Русская революционная демократия не могла вполне понять этой «тайны», хотя отдельные представители ее подошли к этому пониманию довольно близко, а некоторые из них приняли и непосредственное участие в боях Коммуны<sup>87</sup>. Особенно близко подошли—очевидец парижских событий Лавров, что объясняется, в значительной мере, его личным общением с Марксом и Энгельсом, к которым он ездил по делу организации помощи Коммуне, и Щедрин, сделавший смелую, но безнадежную попытку напечатать в «Отечественных Записках» статью, гневно клеймящую «одичалых консерваторов Франции», версальских палачей, и выражающую уверенность в исторической правоте дела Коммуны и неизбежности его победы в будущем<sup>88</sup>. Весной 1872 г. Париж посетил Глеб Успенский. Он увидел там расправу озверевшей буржуазии над побежденным пролетариатом, он присутствовал в Версале на «судебных процессах» героических коммунаров, сотнями и тысячами ссылаемых на каторгу в Новую Каледонию. Его письма из Парижа полны сочувствия героическим бойцам Коммуны и страстного негодования относительно жестокости версальского суда, перед которым даже царский суд кажется ему образцом справедливости: «В один час таким образом при нас захерили на смерть трех человек. Возмутительнее я ничего не видал. Вот злодеи! Это злодеи! Что наши судьи—они святые, они образцовые в самом серьезном смысле... С самым скверным впечатлением вышли мы отсюда и пошли пешком за несколько верст от Версаля в Сатори, где расстреляли Росселя». Все его парижские впечатления окрашены острым переживанием недавних событий: «Здесь, на этом месте,—передает он о посещении Пантеона,—версальцы в прошлом году 21 мая расстреляли 450 коммунистов, вся площадка была залита кровью... Я на этой площадке простоял час, словно помешанный или в столбняке,—ноги мои словно прилипли к тому месту, где умерло столько народа». В Парижской Коммуне Успенский увидел и почувствовал ее классовую сущность, непримиримость классового антагонизма, и это содействовало укреплению в нем убеждения, что революционное движение должно для своего успеха найти опору в широком общественном слое. Но, в отличие от Щедрина, Коммуна страшила Успенского ужасами гражданской войны, и позднее, в статье «Горький упрек», он, полемизируя с Марксом и Энгельсом, высказывал народническую надежду, что этот «фазис» минует Россию<sup>89</sup>. Огромное впечатление произвела Коммуна на Достоевского, который, естественно, резко враждебно осудил ее и в самом ее поражении пытался почерпнуть новые аргументы для своей теории о бессилии революции<sup>90</sup>.

Набат Коммуны сыграл значительную роль в оживлении революционного движения в России. В 1883 г. Лавров писал, что 1871 год «вызвал в революционных элементах русской интеллигенции определенное движение, которое резко выступило в начале 70-х годов, как энергичная сила, на сером фоне унылой и сознающей свое бессилие русской оппозиционной интеллигенции»<sup>91</sup>. Активный участник революционного движения 70-х годов, народовец Степняк-Кравчинский, свидетельствует, что с «Парижской Коммуной... русский социализм вступил в воинствующий фазис своего развития, перейдя из кабинетов и частных собраний в деревни и мастерские»<sup>92</sup>. Дебагорий-Мокриевич в своих воспоминаниях указывает на скрытое влияние Коммуны, сказавшееся в попытках поднять вооруженное восстание среди крестьян, которые были сделаны южными революционерами («Чигиринский заговор» и др.)<sup>93</sup>.

Но влияние Коммуны преломлялось у русских революционеров 70-х годов через бакунинскую призму; понимание ее мешали народнические иллюзии и предрассудки в отношении политической борьбы, и по-настоящему революционные традиции Коммуны вошли в русское общественное движение, лишь как органическая часть марксизма-ленинизма. Характерно, что сам Лавров, так близко прикоснувшийся к делу Коммуны и к роли Маркса в этом деле, является автором стихотворения, ставшего гимном русской буржуазно-демократической революции и известного под именем «Русской Марсельезы» («Отречемся от старого мира...»), так как музыка его заимствована из гимна Великой французской буржуазной революции. Великий же гимн рабочего Интернационала, созданный поэтом-коммунаром Эженом Потье и композитором-рабочим Пьером Дегайтером, вошел в русский язык, как песня большевистской партии, ставшая после Октября гимном Советской страны и великим символом пролетарской революции.

Для передовых русских современников Коммуна была яркой революционной молнией, прорезавшей на короткое время серое небо буржуазной эпохи и вновь приковавшей все взоры к Франции. С падением Парижской Коммуны Франция, вступившая в период начавшегося упадка капитализма, становится, в лице своих господствующих классов, в своей культуре еще более буржуазной. События 1871 г. произвели огромное впечатление на буржуазию и буржуазную демократию Европы и, в первую очередь, самой Франции. От недавнего радикализма французских республиканцев, хотевших «полного обновления крови, костей и мозга нации», скоро не осталось и следа. Политика республиканской партии после Коммуны преследовала цель консолидации сил буржуазии, примирения всех враждовавших внутриклассовых течений и была насквозь соглашательской. Тьер, этот «карлик-чудовище» (Маркс), усмиривший Парижскую Коммуну, был хуже самого Наполеона III, а республиканский режим Гамбетты если был более демократичен, чем режим 2-го декабря, был, вместе с тем, еще более беспримерно буржуазен и насквозь оппортунистичен. Гамбетта был подлинным героем и кумиром всей либеральной Европы этой эпохи. Ему аплодировали и русские либералы, в частности, Тургенев.

Но Францию Тьера и Гамбетты, Францию Третьей республики изобразил в своей гениальной книге «За рубежом» Щедрин. Силу и остроту щедринского разоблачения буржуазной демократии Третьей республики Ленин назвал классическим<sup>94</sup>. Замечательны щедринские страницы, посвященные критике французской художественной литературы 70—

80-х годов. Воспитанный на «героической, идейной беллетристике» великих писателей Франции—Рабле, Бальзака, Жорж Санд—и сохранив к ним всю горячую любовь своей молодости, русский сатирик противопоставляет им современную литературу эпигонов натурализма. Он обнажает связь этого литературного направления с буржуазией периода ее установившегося могущества и, одновременно, начала ее культурно-исторического упадка. В литературе, провозгласившей принципиальный отказ от борьбы за общественные идеалы, он видит «современного французского буржуа», которому «ни идеалы, ни героизм уже не под силу», который «слишком отяжелел, чтобы не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтобы нуждаться в расширении горизонтов»<sup>95</sup>.

Этот художественный суд великого русского демократа и реалиста над достигшей своей полной зрелости западной буржуазией—одна из великих страниц русской и мировой литературы, свидетельствующая, в частности, о глубоко изменившейся роли передовой русской мысли в отношении буржуазной Франции, вступившей в новый империалистический период своей истории. Литературная Франция Третьей республики—Франция Флобера и Ренана, Золя и Мопассана—продолжала, конечно, и на буржуазной почве создавать великие культурные ценности и попрежнему удерживала свою влияние в Европе. Но общий характер французской литературы глубоко изменился. 70—80-е годы во французской литературе явились узловым пунктом, в котором сошлись те линии литературного развития—натурализм, импрессионизм, символизм,—которые обозначали начало распада буржуазного реализма и перерождения прогрессивной литературы в эстетскую культуру декаданса.

Русская литература третьей четверти XIX в. была выше, сильнее и человечнее, чем современная ей французская, и в дальнейшем оказала мощное воздействие на последнюю.

В течение долгого времени Россия воспринималась передовой Францией—Францией просвещения, буржуазных революций и буржуазной демократии, Францией Парижской Коммуны—прежде всего, в качестве неиссякаемого источника реакции, сковывающей и душащей силы европейских революций и европейского освобождающего мировоззрения. Для правящих классов Франции Россия была, прежде всего, колоссальной военной империей, простиравшейся от Германии до берегов Тихого океана, вооруженной мощи которой боялись и внешнеполитические отношения с которой вплоть до 90-х годов XIX столетия были почти все время напряженными. Для тех и других Россия казалась «варварской» страной «царя, кнута и мужика», от которой нельзя было ожидать никаких культурных ценностей и, тем более, заимствовать этих ценностей у нее. На протяжении ряда десятилетий XVIII и XIX вв. характерной чертой французской литературы о России являлись памфлетные разоблачения русских царей и царского деспотизма типа «Relation d'un voyage en Sibirie» Шапп д'Отроша, «Anecdotes sur la Révolution de la Russie en 1762» Рюльера (1797), «La Russie en 1839» Кюстина (1843) или «La Sainte Russie»—альбома сатирической графики Гюстава Доре (1854). «Нет недостатка в книгах о России,—писал в 1849 г. Герцен,—но большая их часть—политические памфлеты; они писались не для лучшего ознакомления с этой страной: они служили лишь делу либеральной про-

паганды либо в России, либо в Европе. Цель их была пугать Европу и поучать ее картиною русского деспотизма»<sup>96</sup>.—«Французы ненавидят Россию, потому что они ее смешивают с правительством»,—замечает Герцен в другом месте<sup>97</sup>, и это замечание соответствует исторической действительности. Колосс самодержавия, которое ненавидели во Франции и которого боялись, невольно заслонял собою от французов подлинную Россию—ее народ, ее национальную культуру. Характерны пренебрежение, с которым Кюстин говорит о Пушкине, в котором заранее отказывается допустить возможность самобытности; податливое легкомыслие, с которым он усвоил навязанную ему Николаем I легенду о декабристах, как кучке гвардейских заговорщиков; презрение, с которым он сразу же по приезде в русскую столицу отзывается о русском народе («Кюстин знал тогда русский народ только по петербургским извозчикам»,—замечает Герцен<sup>98</sup>) и о тех, кого он называет русской буржуазией, т. е. об образованном чиновничестве и дворянской интеллигенции средней руки. Кюстин, конечно, аристократ, роялист и католик, которого только зрелище николаевского царизма могло превратить, в известном смысле, в либерала, но проявленные им невежество и предубежденное презрение к русской культуре, уверенность, что настоящая Россия—это только «безмолвный и дикий мужик» и, с другой стороны, царь и «бояре»,—долго остается характерной чертой отношения к России и широких кругов французской (и не только французской) буржуазии, и отдельных представителей французской литературы, даже таких, как Бальзак, который прожил в нашей стране свыше двух лет, но «не заинтересовался ни русским народом, ни русской поэзией, ни русской мыслью, ни русским общественным мнением и в своем творчестве прошел мимо России и русских»<sup>99</sup>.

Характерно, что в XVIII в., когда царизм не превратился еще в жандарма Европы, когда его контрреволюционная роль во внешней политике еще не давала себя знать, Франция уделяла России и ее культуре гораздо более серьезное и глубокое внимание. Интерес к России и всему русскому проявляли не только отдельные философы и писатели, лично связанные с Екатериной и ее вельможами или дипломатами, но и довольно широкие круги дворянско-буржуазной интеллигенции. Военная мощь «северной империи», огромная фигура Петра I, русская история, политика, наука, современная русская литература, русские нравы служили предметом не только достаточно живого внимания общественного мнения и текущей прессы, но и предметом специальных исследований и откликов в художественной литературе. Достаточно назвать здесь «Историю Карла XII» Вольтера, поэму «Петриада» А. Тома, драмы «Петр Великий» Дора, «Меньшиков» Лагарпа, «Федор и Лизанька» Дефоржа и др. Вопрос о значении «русской темы» во французской литературе XVIII в. совсем почти не изучен, а между тем, как это удалось совсем недавно показать Mohrenschildt, автору книги «Russia in the intellectual Life of Eighteenth Century France», исследование этого вопроса приводит к несколько неожиданным результатам. Следует, конечно, критически отнестись к заключительному выводу автора, что Россия сыграла в культурной и литературной жизни Франции XVIII в. роль почти не меньшую, чем Англия, но обширные материалы, привлеченные исследователем, во всяком случае, свидетельствуют о том, что роль и значение «русской темы» во французской литературе XVIII в. до сих пор сильно преуменьшались<sup>100</sup>.

Борьба самодержавия с революционной, а затем и наполеоновской Францией, реставрация силою русского оружия ненавистных большинству французского народа Бурбонов, оккупация Парижа русскими войсками, создание Александром I системы Священного союза, в расчете установить гегемонию русского царя в Европе,—все это, утверждая политическую роль России на Западе, не способствовало, вместе с тем, развитию сколько-нибудь широких французских интересов и симпатий к культурной жизни враждебной страны. Уже в 1824 г. поэт Баур-Лормиан, рецензируя только-что появившуюся антологию русских поэтов («Anthologie russe») Дюпре де Сен-Мора, писал: «Вот автор, который хочет заставить нас полюбить русских. Мы же знаем их только по их многочисленным батальонам»<sup>101</sup>. Но, начиная с 20-х годов, положение начинает несколько меняться. Пропагандистами и популяризаторами русской литературы выступают сначала сами русские. В 1821 г. Кюхельбекер, очутившись в Париже, читает в «Athénée Royal» свои свободололюбивые лекции о русской литературе и славянских языках, в которых заявляет о верности своих передовых соотечественников принципам свободы. С. Д. Полторацкий усиленно снабжает русскими материалами журнал «Revue Encyclopédique»—единственное издание, внимательно следившее во Франции за текущей русской литературой и сыгравшее на этом раннем этапе ознакомления французов с русской культурой большую роль. В полемике, вспыхнувшей по поводу упомянутой «Anthologie russe» Дюпре де Сен-Мора, участвуют со своими толкованиями русской литературы Яков Толстой и член кружка кн. Шаховского Н. И. Бахтин, наконец, с реакционно-монархических позиций усиленно пропагандирует русскую литературу Элим Мещерский<sup>102</sup>. Одновременно появляется ряд французских переводов из русских авторов, в том числе привлечший большое внимание критики перевод «Истории государства Российского» Карамзина, сделанный Сен-Тома и Жоффруа, переводы из Пушкина, Крылова, Жуковского, поэтов XVIII в., а также ряд французских статей и книг о России и русской литературе, среди которых особую роль сыграли «русские главы» в «Dix années d'exil» г-жи де Сталь и «Six mois en Russie» Ансло. Но русская литература, сама по себе, мало привлекала внимание в эти годы. Ею интересовались, в первую очередь, потому, что рассматривали ее, как единственно возможную в России форму выражения общественного мнения, которая давала иностранцам возможность в какой-то мере объективно знакомиться с политической борьбой, шедшей в России, узнавать о внутренних опасностях, угрожавших самодержавию,—а всем этим французы интересовались сильно. Это особенно сказалось на отношении французов к Пушкину, который долгое время привлекал внимание, лишь как автор антиправительственных стихов<sup>103</sup>. Однако, были уже и исключения, и даже в такой среде, как дипломатическая. Так, по свидетельству А. И. Тургенева, когда петербургский «свет», чтобы помешать демонстрации народного гнева, съехался на панихиду по Пушкине, французский посол Барант—историк, высоко ценимый Пушкиным, был среди них «единственным русским», единственным среди этой «светской черни» понимавшим страшное значение понесенной русским народом потери. Вообще дуэль и смерть Пушкина значительно усилили к нему внимание литературной Франции и Европы. Французский литератор Лёве-Веймар, для которого Пушкин делал подстрочные переводы русских народных песен, написал о нем в «Journal des Débats» сочувственный и, по словам В. Ф. Одо-

евского, «довольно справедливый некролог», в котором, однако, больше сказались обаяние личности великого русского поэта, чем глубокое знакомство с его творчеством. Во влиятельном «*Revue des deux Mondes*» была напечатана анонимная статья Шарля Бодье, в которой Пушкин уже ставился в ряд с крупнейшими писателями Европы и, прежде всего, с Байроном. Но все же единственным человеком во Франции, который на смерть русского поэта мог отозваться не только достойными словами, но и проявить при этом действительное понимание значения его творчества, был Адам Мицкевич. Его статья в «*Le Globe*», в которой он заявил, между прочим, что «если бы не существовало произведений Байрона, то Пушкин был бы провозглашен первым поэтом своего времени»,— важная веха в ознакомлении Европы и Франции с величайшим русским поэтом.

Период с Реставрации 1814 г. и до крымской войны 1853—1856 гг. был мало благоприятен для проникновения во Францию русской литературы. Политические отношения России и Франции, особенно обострившиеся в связи с революцией 1830 г., оставались все время враждебными, и враждебность эта шла, все усиливаясь, до самой войны. Николай I ненавидел режим Июльской монархии «короля баррикад» и мечтал о воссоздании системы Священного союза; еще бльшую ненависть к Франции внушила ему революция 1848 г. Франция, в свою очередь, остро ненавидела николаевское самодержавие, как жандарма европейской свободы, как душителя Польши. Весь этот период проходил во Франции под знаком антирусских настроений в общественном мнении и непрерывающейся антирусской агитации в прессе<sup>104</sup>. Все это наложило глубокий отпечаток и на характер литературных отношений Франции к России в первую половину XIX в. и определило, в частности, сравнительно незначительную роль русской темы во французской литературе эпохи романтизма, открывшего столь широкий доступ иноземной тематике и локальному колориту.

После Дидро и Бернардена де Сен-Пьера первым крупным писателем Франции, писавшим о России на основании личных впечатлений, была М-те де Сталь. Зачинательница французского либерального романтизма, разъяснившая Европе и России, в том числе Пушкину, смысл нового литературного направления и «открывшая» богатства немецкой словесности, она хотела узнать и нашу страну и вызвать интерес к ней во Франции. Она посетила Россию проездом в Швецию летом 1812 г., в разгар Отечественной войны, видела Киев, Москву, Петербург и впечатления свои изложила в последних главах книги «*Dix années d'exil*», вышедшей в 1821 г. В этих воспоминаниях она стремится рассеять предубеждение французов против России и первая среди европейских писателей пытается подойти к определению содержания русской национальной самобытности и узнать характер русского народа. «Несколько скверных анекдотов из предыдущих царствований, несколько русских, делавших долги в Париже, несколько острот Дидро поселили в голове французов мысль, что Россия состоит исключительно из испорченного двора, придворных и народа, состоящего из рабов». «Это,—отмечает Сталь,—большая ошибка». «В характере русского народа—не бояться ни усталости, ни физических страданий; в этой нации совмещаются терпение и деятельность, веселость и меланхолия; в ней соединяются самые поразительные контрасты, и на

этом основании ей можно предсказать великую будущность». «Этот народ характеризуется чем-то гигантским во всех отношениях; обыкновенные размеры неприложимы к нему».

Наблюдениям над русским крестьянством, над его бытом, нравами, песнями, даже над его речью, непонятной ей, но в которой она сумела услышать «нежность и блистание звуков, предназначенных для музыки и поэзии»,—всему этому Сталь уделяет в своих путевых воспоминаниях много сочувственного внимания. Суждения ее о придворно-аристократическом обществе Москвы и Петербурга, наоборот, отрицательны. Она отказывает этому обществу в праве считать себя просвещенным и указывает: «Всякая значительная мысль всегда более или менее опасна во дворце, где одни остерегаются других и где больше всего занимаются интригами»; это различие оценок, данных автором «Коринны» двум социальным группам русского общества, хорошо отметил Пушкин словами героини «Рославлева»: «Пускай она вывезет о этой светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере она видела наш добрый простой народ и понимает его». Но следует признать, что вместе с «светской чернью» Сталь отказывает в просвещенности и всему русскому дворянству и проходит мимо его культуры. Она, отмечая с удовлетворением популярность своего литературного имени среди русских «даже в Туле, на таком расстоянии от моего отечества», сама никогда ничего не слышала о Ломоносове, Сумарокове, Державине, Крылове, Фонвизине, Карамзине, не заинтересовалась этими именами и теперь и прямо утверждала, что русская литература еще не существует: «Поэзия, красноречие и литература не встречаются еще в России»<sup>105</sup>.

Столь категорическое суждение, высказанное авторитетной писательницей в книге, получившей огромное распространение в Европе, должно было оказать свое действие и, разумеется, не могло способствовать пробуждению интереса Франции к литературной России.

Почти одновременно с г-жей де Сталь увидел нашу страну Стендаль, тогда еще Анри Бейль. Но он посетил ее не как писатель-путешественник, а в качестве участника наполеоновского похода 1812 г. Он проделал русскую кампанию, занимая довольно видную должность при интендантстве главной армии, видел горящую Москву—«прекрасный город... превращенный в черные и смрадные развалины», пережил трагедию отступления и гибели великой армии и навсегда сохранил в своей памяти эти исторические воспоминания. Москва дала ему и сильнейшие эстетические переживания, поразив его творческое воображение самобытной красотой своего архитектурного облика. «Только моя счастливая и благословенная Италия давала мне такие впечатления»,—признавался Стендаль своим парижским друзьям в письме, носящем помету: «Кремль, 16 октября 1812 г.»<sup>106</sup>. Но эти эстетические переживания и необычность обстановки, в которой произошло соприкосновение писателя с русской действительностью, не ослабили его всегдашней привычки к анализу и не заслонили от него политической стороны «московской изысканности». «Русская власть—это своеобразный вид восточной деспотии,—сообщал он в том же письме.—Правящая верхушка (восемьсот или тысяча человек) имеет от пятисот тысяч до полутора миллионов франков ежегодного дохода и сотни тысяч рабов». Наблюдения над социально-политическим укладом страны вызывают интерес к некоторым фактам ее прошлого, и Стендаль знакомится в оставленных владельцами московских библиотеках с мемуарной и памфлетной

литературой о Лже-Димитриях, Пугачеве, с бурными событиями русской придворной истории XVIII в.

Но русские интересы Стендаля, пробужденные 1812 годом и поддержанные позднее знакомством с А. И. Тургеневым, С. И. Соболевским и другими русскими парижскими посетителями салона М-me Ancelot<sup>107</sup>, не получили, однако, достаточного развития и не нашли сколько-нибудь существенного отражения в его художественном творчестве. Правда, героиня его повести «Арманс» (Арманс Зоилова)—русская, русскую фамилию носит также один из героев романа «Красное и черное» (Жоразов), но как раз национальные характеристики этих персонажей выявлены слишком мало, и они вряд ли могут быть сочтены за изображения русских людей<sup>108</sup>. Не забудем, однако, что именно Стендалю обязан Мериме сюжетом и деталями своей «русской» новеллы «Взятие редута», в которой дано столь мастерское изображение одного из центральных эпизодов Бородинского сражения—боя за Шевардинский редут.

Если отзывы г-жи де Сталь о России Александра I не отличались еще резкой враждебностью к ее правительству, то скоро, в эпоху священно-союзной реакции и, особенно, николаевского царствования, превратившего самодержавие во всевропейского жандарма, французские писатели заговорили об официальной России совсем другим языком. Ее имя стало для них символом тирании и деспотизма русского царя, в ненависти к которому сошлись демократ Гюго и аристократ Виньи.

Гюго, создавший в свой ранний период, под впечатлением вольтеровской «Histoire de l'empire de Russie...», панегирическую характеристику Петра I в одном из своих ранних «Discours» («Conservateur Littéraire», III, 7) и несколько позже поэму «Мазепа» («Les Orientales», XXXIV), вместе с тем, не посвятил ни строчки России в «Легенде веков». Но он обрушился на ненавистную ему «мрачную империю» русского царя и на поработанный народ в гневных строфах своих «Châtiments»:

Peuple russe, tremblant et morne, tu chemines,  
 Serf à Saint-Pétersbourg, ou forçat dans les mines.  
 Le pôle est pour ton maître un cachot vaste et noir;  
 Russie et Sibérie, oh tsar! tyran! vampire!  
 Ce sont les deux moitiés de ton funèbre empire:  
 L'une est l'Oppression, l'autre est le Désespoir.  
 («Carte d'Europe»)<sup>109</sup>

Ненависть к самодержавию Гюго сохранил до конца своих дней, но с 60-х годов, при помощи Герцена, он узнал другую—революционную и оппозиционную—Россию и в дальнейшем не раз активно помогал ее борьбе с царизмом своим горячим словом публициста-демократа.

Альфред де Виньи, никогда не простивший Николаю I расправы над декабристами и удушения Польши, работал, как показывает его дневник—«Journal d'un poète», над двумя поэмами, направленными против самодержавия и русского царя,—«Le Despôte» и «Le Russe», но завершить ему удалось лишь третью поэму, «Wanda» (1847)—замечательный по своей сосредоточенно-негодующей энергии рассказ о женах декабристов в Сибири, в судьбе и поведении которых автор цикла «Les Destinées» находит новые подтверждения для своей идеи о трагической обреченности всякой героической и морально сильной личности и необходимости стоически подчиниться этой гибели:

Et ces femmes sans peur, ces reines détronées  
 Dédaignent de se plaindre et s'en vont au désert  
 Sans détourner les yeux, sans même être étonnées  
 En passant sous la porte où tout espoir se perd<sup>110</sup>.

Аналогичный сюжет, связанный с историей Полины Гебль и декабриста Анненкова, вдохновляет А. Дюма на целый роман «*Mémoires d'un maître d'armes*» (1840)—первый роман о декабристах, в котором, несмотря на фантастичность многих деталей и эпизодов, дано волнующее изображение событий 14 декабря, как яркой вспышки революционного протеста против веков крепостнического рабства, придавленности и угнетения. Позднее, в 1858—1859 гг., Дюма совершил большое путешествие по России и Кавказу и описал его в нескольких томах своих известных книг «*De Paris à Astrakan*» («*En Russie*») и «*Le Caucase*»—занимательных, благодаря живости и мастерству рассказа, путевых очерках, в которых подлинные наблюдения и переживания автора тонут в море безудержной и неистощимой фантазии творца «Трех мушкетеров»<sup>111</sup>.

Столь связанный в своей биографии с Россией Бальзак, знавший Петербург и особенно Украину, где он прожил, в общей сложности, более двух лет, тем не менее, прошел в своем творчестве мимо нашей страны. Правда, он набрасывает в «Человеческой комедии», как бы мимоходом, силуэты нескольких титулованных русских людей и переносит в Россию некоторые эпизоды из «Прощания» и «Деревенского врача», но это—малозначительные детали на его огромном творческом полотне. А его главная «русская» героиня—светская львица Федора из «Шагреновой кожи» и «*Autre étude de femme*»—представляет собою в гораздо большей степени парижско-космополитический, чем русский тип<sup>112</sup>.

Великосветских русских бар-космополитов выводит и Теофиль Готье в своем «Путешествии в Италию» и в «Перевоплощении» («*Avatar*»). Но Готье связан с Россией не только через своих литературных героев,—он был в России (в 1859 г.), видел Петербург, Москву и Нижний-Новгород, изучал древнерусскую архитектуру и искусство, восторгался русским театром и балетом, знакомился с народными обрядами и впечатления свои изложил в замечательной в литературном отношении книге «*Voyage en Russie*». В живописной пластической манере, смешивая на своей палитре все ее богатые краски, изображает Готье русский зимний дорожный пейзаж, поразивший его своим «гранитным величием» Петербург—«золотой город на серебряном фоне»—среди архитектурных ансамблей которого «чувствуешь себя, как в сновидении»,—и вызвавшую его особенное восхищение Москву и Кремль—«архитектурную кристаллизацию из «Тысячи и одной ночи»... самое великолепное нагромождение дворцов, церквей, башен и стрел, о котором только может грезить человек». В ансамбле Кремля Готье находит «некоторое сходство с Альгамброй», но, вместе с тем, весь его архитектурный облик «не греческий, не византийский, не готический, не арабский,—он русский»<sup>113</sup>. Готье восхищается древнерусской и византийской иконописью в кремлевских соборах и русскими жемчугами в Троицкой лавре, высоко ценит блеск драматического и балетного искусства Петербурга и Москвы; его внимание привлекает красочная сторона некоторых русских обрядов, он едет в Нижний-Новгород, «давно непреодолимо занимавший мое воображение», чтобы насладиться «пестрым великолепием» его ярмарки, он восторгается пляской цыган, которая

похожа на «качучу при лунном свете на снегу»<sup>114</sup>, но за всем этим богатством зрительных впечатлений он не видит подлинной России, ее народа и жизни; он сознательно проходит мимо русской литературы, которой не знает, и отстраняется от обсуждения каких-либо социально-политических вопросов русской действительности. В этом отношении книга Теофиля Готье, вполне отвечающая его требованию искать «экзотизм в пространстве и во времени», стоит особняком в ряде «русских путешествий» других французских писателей.

В числе произведений французской литературы первой половины XIX в., посвященных русской тематике, следует назвать еще две известные повести Ксавье де Местра: «Jeune Sibérienne» и «Les prisonniers du Caucase», из которых последняя, повествующая о побеге из чеченского плена двух русских офицеров, привлекла внимание Пушкина<sup>115</sup> и оказалась в числе литературных источников рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник»; целую серию романов из русской жизни, точнее, из жизни русской аристократии, П. де Жюльвекура под общим названием «Le faubourg Saint-Germain moscovite»—«Nastasie», «Les russes à Paris», «Le chevalier-garde», «La bohémienne de Nijneu», а также его стихотворные произведения на русские темы в сборнике «Fleurs d'hiver» и книгу «Le Yataghan et la Dame de rîque»<sup>116</sup>; наконец, ряд книг писателей-путешественников, посетивших Россию,—Э. де Монтюле (в 1825 г.), Ансло (в 1826 г.), П. де Жюльвекура и Ж. де Сен-Феликса (в 1834 г.), Кюстина (в 1839 г.) и, особенно, Ксавье Мармье, впервые приехавшего в нашу страну в 1842 г., много и серьезно писавшего впоследствии о русской жизни, политике и литературе и переводившего русских авторов, в том числе Пушкина, Лермонтова и Гоголя<sup>117</sup>.

Если, таким образом, в свете приведенных данных, было бы неправильно утверждать,—подобно тому, как это делает современный французский исследователь Pierre Jourda в отношении великих романтиков,—что французские писатели первой половины XIX в. остались совсем «равнодушны к России»<sup>118</sup>, то необходимо, все же, признать, что русская тематика во французской литературе эпохи романтизма играла достаточно скромную роль и не дала, как, например, Испания и Италия, произведений, сколько-нибудь равных по значению таким, как «Кармен» Мериме, «Капризы Марианны» или «Сказки Испании и Италии» Мюссе, наконец, итальянские новеллы и хроники Стендаля.

Тем не менее, несмотря на неблагоприятные политические условия, уже в 40-х годах один из крупнейших французских писателей своего поколения, писатель, которого Пушкин выделял из числа его современников,—Проспер Мериме, начинает во Франции борьбу за Пушкина и русскую литературу. И эта борьба открывает новую и блестящую страницу в истории взаимоотношений двух литератур. Впервые великий русский писатель становится фактом самой французской литературы, ибо Мериме не просто знакомит французам с Пушкиным, а опирается на него в своей борьбе за определенные художественные принципы—за ясность, стройность, высшую простоту, против риторики эпигонов романтизма. Мериме назвал Пушкина «афинянином среди скифов», признавал его величайшим европейским поэтом XIX в. и сам испытал его творческое воздействие<sup>119</sup>.

На протяжении 40-х годов происходит и первое знакомство Франции с Лермонтовым и Гоголем. В 1843 г. выходит первый перевод «Героя нашего времени», в 1845 г. появляются «Повести» Гоголя, которые вызывают восхищение в литературных кругах и получают высокую оценку критики, в частности, Сент-Бёва, назвавшего «Тараса Бульбу» «запорожской Илиадой» и признавшего ее автора (с которым он в 1838 г. познакомился и лично) «человеком истинного таланта, пронизательным и немолчимым наблюдателем человеческой природы»<sup>120</sup>.

Дальнейшим важным этапом в знакомстве Франции с русской литературой и культурой были европейская деятельность Герцена и деятельность Тургенева в Париже. Герцен, который, по словам Ленина, «в крепостной России 40-х годов... сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени»<sup>121</sup>, был первым русским (если не считать Бакунина), который не только знакомил Европу с подлинной Россией, но и оказал влияние на развитие европейской революционной демократии. Тургенев был первым русским писателем, оказавшим непосредственное влияние на европейские литературы. В их лице «молодая Россия» начала отдавать свой идеологический долг Западу.

Уехав в 1847 г. за границу, Герцен с исключительным блеском начинает осуществлять здесь ту задачу ознакомления европейской демократии с революционной и оппозиционной Россией, с великим русским народом, которую он сам поставил себе в знаменитом прощальном обращении к своим русским друзьям: «Пора,—писал он здесь,—действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою [с Наполеоном], где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся... об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа...»<sup>122</sup>.

Исполняя это обязательство, Герцен публикует ряд статей о России, русской культуре и жизни в газете Прудона «Voix du peuple», издает на французском языке свои известные работы «О развитии революционных идей в России», «Крещеная собственность», «Старый мир и Россия» и другие, в которых знакомит европейского читателя с декабристами, Пушкиным, петрашевцами и др. Резонанс этих выступлений в передовой Франции был очень силен, как об этом, между прочим, свидетельствует тот факт, что на призыв Герцена помочь ему в «закладке свободного русского дела»—в издании «Полярной звезды» откликнулись крупнейшие деятели французской демократии—Прудон, Луи Блан, Мишле, Виктор Гюго<sup>123</sup>.

С последним Герцен находился и в личном общении на протяжении ряда лет, вплоть до своей смерти, и служил для него посредником в его связях с новой Россией. Гюго, в свою очередь, высоко ценил Герцена и как одного из вождей европейской и русской демократии, и как замечательного писателя; он восторгался «Былым и думами» и книгу

эту, вместе со всей передовой французской критикой, считал одним из наиболее волнующих произведений современной европейской литературы<sup>124</sup>.

Тургенев, почти безвыездно живший с конца 50-х годов за границей, сблизившись в 60-х годах с кругом Флобера, настолько прочно вошел в него, настолько воспринимался, как его органическая часть, что уже в 70-х годах американский писатель Генри Джемс, приехавший в Париж и посещавший французские литературные круги, включил очерк о Тургеневе в свою книгу «Французские романисты». В лице Тургенева впервые в истории франко-русских литературных отношений великий писатель одной страны активно и непосредственно участвовал в создании целого литературного движения в другой стране, был одним из признанных руководителей литературной жизни в этой стране. Мериме и Флобер высоко ценили литературный вкус Тургенева, посвящали его в свои творческие работы, обсуждали с ним свои замыслы и знакомили его со своими произведениями в далеке еще не завершенных рукописях. Известно то прямое участие, которое принимал Тургенев в работе Мериме над повестью «Лоис» и, особенно, над его историческими этюдами «Петр Великий» и «Лже-Елизавета», и его участие в создании и появлении в свет «Легенды о Юлиане-странноприимце» Флобера. Младшие члены флюберовского круга—Золя и Мопассан—смотрели на Тургенева, как на учителя, и из Парижа его влияние начало распространяться и на другие страны. Но влияние Тургенева не ограничивалось его личностью и творчеством,—он был деятельным пропагандистом и истолкователем во Франции великих русских писателей, в первую очередь Пушкина, но также Лермонтова, Гоголя, Толстого, Писемского и др. Русский роман впервые проник во Францию через Тургенева и с самого начала был воспринят, благодаря его умелой и тактичной пропаганде, не в качестве какой-либо «экзотики», а как нечто «свое», как и сам Тургенев, который, оставаясь для французов иностранным русским писателем, был для них в то же время живой силой в развитии своей литературы. Велика роль Тургенева и как активного посредника между французскими писателями и русской литературной жизнью; в частности, целиком его инициативе обязан Золя своим сотрудничеством в «Вестнике Европы», где он получил возможность сформулировать и развить идеи возглавлявшегося им натуралистического направления. Тургеневу обязан Золя и своим пониманием Пушкина. Выразив в горячих словах свое восхищение великим поэтом в юбилейном приветствии 1899 г., Золя указал, что именно Тургенев раскрыл перед ним всю глубину пушкинского гения<sup>125</sup>.

Реализм Флобера и его школы был антибуржуазен. Но эта антибуржуазность была пассивна и глубоко пессимистична, и пока в русской литературе господствовало гуманистическое, общественное и демократическое направление, флюберовский роман оставался на русской почве без сколько-нибудь широкого влияния, а круг русских почитателей автора «Госпожи Бовари» был в это время незначителен<sup>126</sup>. Характерны в этом отношении и невнимание, с которым отнеслась русская критика к замечательной статье Золя о Флобере, появившейся в 1875 г. в «Вестнике Европы», и неудача, постигшая в 1880 г. Тургенева в его обращении к русскому читателю принять участие в подписке на памятник Флоберу в Руане<sup>127</sup>.

Сложнее складывались отношения с русской литературой у Золя. Его

известность романиста началась в России раньше, чем на его родине. Его теоретическая борьба за новые принципы литературы, за «натурализм», за «научный роман» развернулась впервые на страницах русского журнала. Впоследствии Золя неоднократно вспоминал с благодарностью, как много обязан он России. «В ужасные дни материального стеснения и отчаяния,—писал он,—Россия возвратила мне мою веру и силу, предоставив трибуну и самую отзывчивую, самую страстную аудиторию. Благодаря ей, я стал в критике тем, чем я сейчас являюсь. Я не могу говорить об этом без волнения и сохраняю постоянную благодарность»<sup>128</sup>. За исключением Вольтера и Жорж Санд, ни один французский писатель не привлекал в России такого широкого и разностороннего внимания, как Золя в 70-е годы, и Михайловский имел основание утверждать, что «Золя стал наполовину русским писателем».

Русского передового читателя в эти годы—годы бурного подъема движения революционного народничества—к Золя привлекали его глубокий демократизм, его социальная тематика, его интерес к массам. Но популярность Золя в России была основана преимущественно на его романах. Правда, его «Парижские письма», ежемесячно печатавшиеся, начиная с 1875 г., в «Вестнике Европы», в которых он сформулировал концепцию натуралистического романа, первоначально были встречены также восторженно. Происходило это потому, что понятия «натурализм», «экспериментальный роман», сопровождаемые, к тому же, постоянными ссылками на «научность», «физиологию», «биологию», «медицину» и т. п., на русской почве 70-х годов неправильно ассоциировались вначале с радикальной общественно-политической программой, а также с теми революционно-демократическими традициями левого крыла русской «натуральной школы», теоретиками которой являлись Белинский и Чернышевский и из недр которой вышли Герцен, Некрасов и Щедрин. Но по мере того, как полнее и точнее выяснялась сущность проповедуемых Золя теорий, он стал терять свою популярность и подвергаться ожесточенным нападкам. Демократического читателя начали отталкивать от Золя формулируемые им требования «объективизма», «аполитичности» («я не затрагиваю вопроса об оценке политического строя, я не хочу защищать какие-либо политики или режим; рисуемая мною картина—простой анализ действительности такой, какова она есть»), его биологизм, его тенденция в человеке видеть «человеческое животное», наконец, его резко-poleмические выступления против недавних кумиров—Жорж Санд и Гюго. Золя начинает подвергаться резким нападкам демократической критики, особенно усилившимся после появления его «Нана» (статья Михайловского, сатирическая критика Щедрина и др.<sup>129</sup>), и скоро теряет свой недавний огромный авторитет, хотя и не перестает быть одним из наиболее читаемых французских авторов, а в недалеком будущем вновь приковывает к себе сочувственное внимание всех передовых русских людей, в том числе Ленина, своей мужественной и честной защитой Дрейфуса<sup>130</sup>.

Расцвет русской популярности Золя частично захватывает тот период с середины 70-х годов, когда в России начинает укрепляться буржуазная литература, освобождающаяся постепенно от демократических тенденций и все более «европеизирующаяся». Писателем этого направления выступает Боборыкин, убежденный сторонник метода «экспериментального романа», но его первым крупным центром становится «Вестник Европы» Стасюлевича—«европейский» орган русского буржуазного либерализма.

Постоянный и главный сотрудник его—Тургенев, постоянный корреспондент в Париже—Золя; к нему примыкает новое поколение либеральных ученых, историков и социологов контовской школы, пользующейся большой популярностью и создающей в России таких адептов, как Г. Н. Вырубов—известный ученый-кристаллограф и философ-публицист, в прошлом связанный с Герценом, который поселился в Париже и вместе с Литтре основал там и редактировал центральный орган позитивизма «*Philosophie positive*». Не разделяя радикализма 60-х годов, «Вестник Европы» еще признает примат общественных интересов и чуждается того растущего антиобщественного эстетизма, который все более характеризует новую французскую литературу.

Поворот к эстетизму намечается в русской литературе с конца 70-х и особенно в 80-е годы—годы реакции, годы идейного и организационного распада движения народной революции и, вместе с тем, годы усиления буржуазных элементов в русской культуре. Борьба за «европеизацию» русской литературы на деле означала борьбу пошедшей на сделку с самодержавием буржуазии за более определенно буржуазный характер литературы, за ее отказ от наследства 60-х годов, за эмансипацию ее от общественных, оппозиционно-демократических традиций. В эти годы начинается увлечение русской интеллигенции новой французской литературой. Уже у Тургенева, в его последних произведениях, намечаются отрыв от общественной традиции и переход на позиции «артистизма» и пессимистического эстетизма. Тургенев проходит стилистическую школу Флобера, работая над переводами «Легенды о Юлиане-странноприимце» и «Иродиады», и переносит в свою «Песнь торжествующей любви» некоторые методы флюберовского «артистического» письма. Он обращается к созданному Бодлэром жанру прозаических *petits-contes*, вырабатывая литературную форму своих стихотворений в прозе, сознательно исходя, в ряде случаев, из бодлэровских образцов<sup>131</sup>. Тургенев, несомненно, содействует проникновению в русскую литературу эстетических и литературно-формальных принципов новой французской поэзии, непосредственно предшествующей символизму и подготовляющей его. Но литературное действие поздней импрессионистско-неоромантической фазы тургеневского творчества сказалось больше в западно-европейской, в частности немецкой, литературе (Т. и Г. Манны, Я. Вассерман), чем в русской. В России же пропагандистами новой французской поэзии и литературы выступают не только профессиональные литераторы, как П. Боборыкин, защитник «Парнаса», поэм Леконт де Лиля и сонетов Эредиа, И. Ясинский, убежденный сторонник флюберовско-натуралистического романа, или П. Якубович-Мельшин, переводчик «Цветов зла» Бодлэра, но и такие лица, как В. Д. Спасович, С. А. Андреевский и А. И. Урусов. Особенно интересен этот последний—упорный пропагандист Бодлэра, бр. Гонкур и особенно Флобера, сыгравший известную роль в популяризации Флобера и в самой Франции. Своего рода центром этого направления становятся литературные собрания, «понедельники» журнала «Слово», организованные И. Ясинским. «Мои понедельники,—вспоминал он позднее в «Романе моей жизни»,—играли, несомненно, кое-какую роль в литературе конца семидесятых и начала восьмидесятых годов... и были колыбелью господства у нас не золаизма, как утверждала тогдашняя критика, плохо разбиравшаяся в литературных направлениях, а своеобразного импрессионизма, вдохновителем которого был Флобер»<sup>132</sup>.

Зарождение в русской литературе поэтических традиций французского «артистизма» и эстетизма, на которые будут позднее опираться русские символисты и декаденты, следует относить, таким образом, к значительно более раннему периоду, чем это обычно принято. Но до 90-х годов, когда в России сложилась своя собственная культура символизма и импрессионизма, это увлечение неоромантическими идеалистическими течениями нового французского искусства эстетского толка не имело сколько-нибудь широкого действия и оставалось вне основного русла русского литературного развития.

В целом, однако, влияние флоберовско-натуралистской школы французского реализма на русскую литературу 1890—начала 900-х годов было относительно невелико. Русская литература протекает в резко иных исторических условиях—условиях назревания все еще не совершившейся демократической революции, теперь уже при гегемонии пролетариата. Этапу, отмеченному во Франции Флобером, Золя и Мопассаном, соответствует в России Чехов, имеющий много общего с ними, особенно с Мопассаном. Но Чехов, вместе с тем, резко отличается от них чертами, явственно связанными с еще не совершившейся демократической революцией,—гораздо менее абсолютным характером своего «пессимизма», своей «обличительной печали», гораздо более глубоким гуманизмом, глубокой болью за человека, которая переходит у него не в презрение к обезображенному капитализмом человеку, а в мучительную сочувственную боль<sup>133</sup>. Разница исторических условий, при которых русская литература достигла своего «флоберовского этапа», сказалась и в том, что этот этап ограничился в России одним гениальным творчеством Чехова, который не имел продолжателей, а только эпигонов, из которых по силе таланта можно выделить одного Бунина, в образовании творческого метода которого, кроме Чехова, большую роль сыграли Флобер и Мопассан. На смену Чехову, с одной стороны, поднимался пролетарский реализм Горького, с другой—нарождалось русское декадентство со всеми его разветвлениями, от чисто буржуазного эстетизма «Мира Искусства» до глубоко трагического творчества Блока.

В 80-е годы, когда Боборыкины и Урусовы начинали поход за «европеизацию» русской литературы, против ее, якобы, «национальной ограниченности»,—в эти самые годы в русско-французских культурных отношениях происходит резкий перелом в пользу русской стороны. Франция «открывает», что за последние десятилетия «отсталая» Россия создала всемирную литературу, которой не только нельзя было дальше не знать, но у которой можно было учиться, можно было ожидать ответов на свои наболевшие вопросы.

Датой торжественного вступления русских во французскую литературу принято считать выход в 1886 г. книги Мельхиора де Вогюэ «Русский роман»<sup>134</sup>. Литературное действие ее было исключительно и неоднократно сравнивалось французской критикой с исторически знаменитым действием, оказанным когда-то на европейские литературы книгой «О Германии» г-жи де Сталь. «Русский роман» составил эпоху во французской литературе и дал начало целому культурному движению, неразрывно связанному с великими русскими именами—Толстым, Достоевским, Тургеневым, русской литературой и искусством в целом.

Однако, утверждение, что Вогюэ открыл Франции русскую литературу, верно лишь в определенном и ограниченном смысле. Русская литература,

как мы видели, была известна во Франции задолго до появления статей Вогюэ в «Revue des deux Mondes». Достаточно вспомнить, как много сделали для ее пропаганды во Франции Проспер Мериме и Ксавье Мармье, с одной стороны, Герцен и Тургенев — с другой, чтобы признать, что у Вогюэ были хорошие предшественники. К этим более ранним именам нужно прибавить еще ряд других, на этот раз имен ученых, познакомивших Францию с Россией, ее историей и культурой в ряде блестящих исследований, появившихся непосредственно в период, предшествовавший выходу «Русского романа» и составивших эпоху в истории французского «руссоведения». Особенно важное значение имели здесь статьи А. Леруа-Больё, появившиеся с 1873 по 1880 гг. в «Revue des deux Mondes», впервые во Франции достаточно полно и объективно знакомявшие читателя с социально-политическим, культурно-бытовым и религиозным укладом тогдашней России, в частности, с крепостным правом. Не меньшее значение имела блестящая книга А. Рамбо «Эпическая Россия» (1876), впервые открывшая Франции богатую сокровищницу русского народного творчества и явившаяся этапом в изучении русского эпоса вообще. Тот же Рамбо познакомил Францию с русской историей в своей «Истории России» (1878), а его почин в области изучения русского народного творчества был подхвачен и продолжен Энсом, выпустившим в 1883 г. книгу «La Russie dévoilée au moyen de sa littérature populaire». Художественная литература 70—80-х годов также уделяет внимание России и если, за исключением, быть может, новеллы Артюра Гобино «La danseuse de Shumaka», написанной в прозрачном и точном стиле, напоминающем манеру Мериме, не создает в этой области ничего сколько-нибудь выдающегося, то, тем не менее, многочисленными «русскими» романами М-ме Анри Гревиль — «Dosia», «Céphise», «Le vœu de Nadia» и др. — знакомит широкие круги французского читателя с некоторыми сторонами русской жизни<sup>135</sup>. Вся эта подготовительная работа сыграла свою большую, но все еще недооцененную роль в успехах того исключительно быстрого «мирного вторжения» русского романа во французскую литературу, которое было так блестяще ознаменовано книгой Вогюэ и окончательно санкционировано огромным успехом романов Бурже «Crime d'amour» и, особенно, «Le Disciple», в которых он выступил проникновенным приверженцем и учеником Достоевского, создав в сильном образе Робера Грелу французского Раскольникова.

«Открывая» в 1886 г. русский роман, Мельхиор де Вогюэ, по существу, открывал Франции лишь Толстого и уже позже Достоевского, отношение к которому, впрочем, у него было гораздо более сдержанным. Третье имя, возведенное в «русском манифесте» Вогюэ, — Тургенев — было уже давно и хорошо знакомо французам, и ничего существенно-нового к его оценке автор «Русского романа» не прибавил. По-иному обстояло дело с Толстым. Мериме его не понял и как следует не заинтересовался им, Тургенев же слишком мало сделал для того, чтобы его узнали в Париже. В результате, к середине 80-х годов, когда литературная слава Толстого в России достигла всеобщего и восхищенного признания, во Франции почти-что не знали его имени.

Интересен рассказ Вогюэ о своем «открытии» Льва Толстого. Связанный родством с русским дворянским обществом, Вогюэ, знавший русский язык и живший в Петербурге в 1876—1878 гг., по совету С. А. Толстой (жены Алексея К. Толстого), решил прочесть «Войну и мир». Он при-



А. М. ГОРЬКИЙ И РОМЭН-РОЛЛАН  
На даче Горького близ Москвы, июль 1935 г.  
Фото - снимок М. Ошуркова

ступил к чтению «с естественным недоверием всякого француза... к произведениям, которые не получили еще общего признания», а «общее признание для нас,—замечает Вогюэ,—это признание со стороны Парижа». Роман произвел на Вогюэ чрезвычайное впечатление. «По мере того, как я двигался вперед, любопытство сменялось удивлением, удивление—восторгом перед этим бесстрастным судьей, который привлекает к своему суду все проявления жизни и заставляет человеческую душу раскрыть все ее тайны. Я чувствовал себя унесенным течением спокойной реки, dna которой я не мог достать; передо мной проходила с а м а ж и з н ь, прикасавшаяся к сердцам людей, внезапно обнажая их во всей правде и сложности их биений...».

Воспользовавшись французским переводом «Войны и мира», сделанным кн. Ириной-Паскевич и изданным в 1879 г. в Петербурге, Вогюэ начинает пропаганду романа в литературном Париже. Его восхищение грандиозным творением русского гения сразу же разделяет Альфонс Доде. Флобер прочитывает его «залпом» и торопится поделиться своими переживаниями с Тургеневым. Он пишет ему: «Это перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог! Два первые тома и з у м и т е л ь н ы [*«sont sublimes»*]... Мне кажется, что есть места, достойные Шекспира! Мне случилось вскрикивать от восторга во время чтения, а оно продолжительно! Да, это сильно! Очень сильно!»<sup>136</sup>. «Война и мир» становится подлинным литературным событием Парижа, и этот успех кладет начало длительному, глубококому и плодотворному увлечению Толстым со стороны широких кругов французской интеллигенции и таких ее благородных представителей, как Ромэн Роллан, который одно время выступал главным глашатаем Толстого во Франции и который в трудные годы своего интеллектуального и творческого самоопределения получил из далекой Ясной Поляны столь необходимую ему тогда поддержку и ободрение. Впоследствии Ромэн Роллан вспоминал: «Дни, когда я познал его [Толстого], никогда не изгладятся из моей памяти. Это было в 1886 г. После нескольких лет медленного прозябания чудесные цветы русского искусства возникли на французской почве. Переводы Толстого и Достоевского начали сразу появляться во всех издательствах с лихорадочной поспешностью... В несколько месяцев, в несколько недель перед нашими глазами раскрылось творчество одной великой жизни, в которой отражался целый народ, даже целый новый мир... Это были как бы врата, раскрытые на безбрежную вселенную, великое разоблачение жизни... Никогда еще подобный голос не раздавался в Европе»<sup>137</sup>. Свою личную благодарность и восхищение перед художественной мощью творца «Войны и мира» Ромэн Роллан сохранил навсегда. Он создал о нем замечательную книгу «Жизнь Толстого», одну из своих героических биографий великих людей, и уже в наши дни писал: «Я сохранил к Льву Толстому все восхищение и всю любовь моей молодости. Никогда не забуду отеческой помощи, которую он оказал мне, ищущему юноше. Я считаю его величайшим мастером жизни в искусстве, мастером живого искусства. «Война и мир» остается для меня образцом современной эпопеи... Я вижу его, как Жан-Жака Руссо, сидящим на развалинах старого мира, разрушению которого он способствовал, на пороге нового мира, приход которого он, сам того не подозревая, подготовил и который идет теперь дальше своим путем»<sup>138</sup>.

Вслед за переводами «Войны и мира», «Анны Карениной», «Казаков» и других вещей Толстого в конце 80-х—начале 90-х годов появляются

переводы «Записок из мертвого дома», «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Бедных людей», рассказа «Кроткой», «Записок из подполья», и Достоевский воцаряется во французской литературе едва ли не более властно и активно, чем Толстой, оказывая чрезвычайное влияние на таких писателей и поэтов, как Поль Бурже (прошедший перед тем через полосу сильного увлечения Тургеневым), Эдуард Род, который, как он сам это признавал, дал в своей «*Sacrifiée*» лишь перифразу «Преступления и наказания»; далее Марсель Прево и Поль Маргерит, романы которых «*Made-moiselle Jauffre*» и «*Jours d'épreuve*» Жюль Леметр, имея в виду влияние Достоевского, назвал «русскими романами», дышащими «гуманностью и милосердием»; отчасти Мопассан, который, однако, испытал влияние и Толстого и Тургенева. Леконт де Лиль под впечатлением «Великого инквизитора» создает свою замечательную поэму «*Les Raisons du Saint-Père*», а Вилье де Лиль Адан, пораженный тою же главою из «Братьев Карамазовых», насыщает свою ранее написанную трагедию «Аксель», при окончательной обработке ее, целым рядом отзвуков монолога «великого инквизитора»<sup>139</sup>. Увлечение Достоевским во французской литературе остается прочным и длительным, достигая своего подлинного апогея в 20-е годы нашего века, когда Сюарес и Андре Жид превращают его в своего рода декадентского полубога и создают его подлинный культ, служителями которого выступают, помимо них, такие писатели, как Марсель Пруст, Дюамель, Александр Арну, особенно Андре Сальмон и др.<sup>140</sup>.

Толстой, Достоевский и Тургенев вызывают интерес и к другим именам и явлениям русской литературы. Во французских переводах появляются «Тысячи душ», «Дельцы» Писемского, «Обрыв» Гончарова, «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина» Щедрина, а также некоторые его «сказки», отрывки из «Помпадуров и помпадурш», из цикла «За рубежом»<sup>141</sup>, переводят также произведения Гаршина, Решетникова, Крестьевского, Короленко и др.

Весь этот поток переводных русских книг вызывает не менее обширную критическую литературу. О русских авторах пишут Брюнетьер (одна из ранних здесь статей о «Что делать?» Чернышевского, 1870), Эрнест Дюпюи («Великие мастера русской литературы», 1885), Эмиль Эннекен («Писатели, ставшие французскими») — о Тургеневе, Достоевском и Толстом, 1889), в качестве критиков выступает Мопассан, снабжающий своим предисловием издание рассказов Гаршина, а также Барбэ д'Орвилли, Катюль Мандес и др.

Русская культура проникает и на парижскую сцену, в концертные залы, в выставочные салоны художников. В 1888 г. в «*Théâtre Libre*» осуществляется постановка «Власти тьмы», а в 1889 г. «Грозы» и «Не в свои сани не садись» Островского, около того же времени театр «*Odéon*» показывает инсценировку «Преступления и наказания» Достоевского, а «*Théâtre du Gymnase*» несколько позже — «Анну Каренину». Ряд русских художников, в том числе Верещагин, устраивает, по приглашению Парижа, свои выставки. Наконец, в эти же годы происходит знакомство Франции с русской музыкой и народной песней (выступления хора Агреева-Славянского, концерты Чайковского) и, особенно, с Мусоргским, страстным пропагандистом которого выступает известный музыкальный критик Пьер д'Альгейм. Мусоргский входит активной силой во французскую музыку и вместе с другими «кучкистами» оказывает заметное влияние на композиторов новой французской школы, в частности, на их признанного лидера, Клода Дебюсси. В эти годы, наконец, начинается

успех русского балета, хотя его парижские триумфы, связанные с антрепризой Дягилева, еще впереди.

В эту пору широких русских влияний под флагом «русского» прокралось во Францию немало ложного, двусмысленного и поверхностного. Немногие тому примеры—пьесы вроде «Сержа Панина» Жоржа Онэ или более ранних «Данишевых» Ал. Дюма-сына (по сюжету П. Корвин-Круковского), относительно которых Золя писал, что «действительно, нужна дерзость, чтобы давать этих злополучных «Данишевых» после того, как во Франции весьма распространены в переводах произведения, например, Тургенева, знакомящие нас с настоящим бытом России»<sup>142</sup>. Крайности увлечения всем русским вызывают естественную реакцию. И если известный писатель Леон Гандеракс в ответ на запрос редактора «*Gil Blas*» о Флобере писал ему: «Вы запрашиваете меня относительно Флобера? Меня, француза, да еще в 1890 году! Почему бы лучше не запросить меня о Толстом? Я бы тогда, между прочим, упомянул о Флобере, чтобы с похвальным беспристрастием принести в жертву русскому натурализму натурализм французский»,—то в этом ответе звучит лишь беззлая ирония. Но скоро Жюль Леметр уже начнет призывать к спасительной «реакции латинского гения» против «русского порабощения»<sup>143</sup>.

Но эти эксцессы, эти приливы и отливы—неизбежные спутники каждого большого движения. Неоспоримым же реальным результатом его было то, что с середины 80-х годов русские входят во французскую литературу активной силой и прочно остаются в ней.

Андре Лирондель—известный французский руссолог, автор монографии об Алексее Толстом—пишет в своей статье «*Le roman russe en France à la fin du XIXe siècle*»:

«Было бы слишком утомительно приводить бесчисленные хищения, совершенные со страниц «Войны и мира», «Анны Карениной», «Преступления и наказания», и бесполезно перечислять все книги, на которых отразилось веяние нового духа. Россия упоминается в них, может быть, даже менее часто, чем во времена, когда «*Le Général Dourakine*» графини Сегюр, «*Le Comte Kostia*» Шербюлье и бесчисленные произведения г-жи Анри Гревиль вводили нас в живописные детали «русских» нравов и в разнообразный маскарад «русских» костюмов. Но и невидимое присутствие России, иногда даже незаметно, было более реально для тех, в которых она жила. Можно было проследить это присутствие по сотням веж, начиная от «*Confession d'un amant*» Марселя Прево и до рассказов Шарля-Луи Филиппа, затрагивая по пути «*Petite paroisse*» Додэ и «*L'Impérieuse bonté*» братьев Рони и драмы Бриё. И не от России ли пошел полет Метерлинка?..»<sup>144</sup>.

Книга Мельхиора де Вогюэ дала толчок широкому «русскому движению» во французской литературе 80-х годов и «ввела» в нее Толстого и Достоевского. В этом—положительная сторона пропаганды русского романа, предпринятой Вогюэ. Но была и отрицательная: пропагандируя Толстого, Тургенева и Достоевского, Вогюэ ими одними и хотел бы ограничить «русский роман»; он противился распространению во Франции революционно-демократических и народнических писателей, и когда стали появляться переводы из Щедрина и Решетникова, косвенно протестовал против этих «излишеств» в печати. Вогюэ, вместе с Брюнетьером, Лемэтром, Бергсоном и другими, был активным деятелем того движения спиритуалистической реакции конца 80—90-х годов, которая была на-

правлена против т. н. механистического, естественно-научного материализма 60—70-х годов. В своей борьбе за идеалистическое мировоззрение он стремился использовать и русскую литературу, с ее богатыми гуманистическими традициями. Отсюда затушевание демократически-опозиционных элементов русской литературы, силу которых он и его единомышленники хорошо понимали. Размышляя над «русским сочувствием к несчастным», над русской «жалостью к ближнему», Вогюэ несколько неожиданно приходит к такому заключению: «Почти математический закон исторических колебаний требует, чтобы за этими излияниями последовали страшные реакции, чтобы жалость превратилась в ожесточение, чувствительность—в ярость. Да отвратятся от нее [России] эти предзнаменования!». Почти то же говорит по поводу Толстого и связанного, по его мнению, с его учением «распространения коммунизма религиозных сект» среди крестьянства Эрнест Дюпюи. Он предвидит день, «когда эти приверженцы социального, по существу, догмата будут насчитываться тысячами... В этот день, если они решатся действовать, им останется только дунуть на старый порядок вещей, чтобы от него ничего не осталось». Эти слова и оценки—не наши, но они показывают, кого боялись и с чем боролись в русской литературе, одновременно пропагандируя ее, Вогюэ и его друзья.

Но «русское движение» 80-х годов во французской литературе было гораздо шире и разностороннее, чем это было предусмотрено манифестом «русской идеи» Мельхиора де Вогюэ. И если несомненно, что русская литература мобилизовалась отдельными французскими деятелями в интересах идеалистической реакции на борьбу с позитивизмом 60—70-х годов, то столь же несомненно, что в развернувшейся борьбе она привлекалась и слева в интересах возрождающегося демократического гуманизма. Огромную роль здесь сыграло творчество пролетарского реалиста Горького, оказавшего еще задолго до революции сильное воздействие на демократическую французскую литературу, в частности, на Шарля-Луи Филиппа и писателей, группировавшихся вокруг него. В целом же, и русская литература поразила французских читателей, помимо своей художественной силы и красоты, тем реалистическим гуманизмом, который почти полностью улетучился из искусства буржуазного Запада. Там гуманизм доживал свой век только в романтике старого демократа Гюго, а реализм был или натуралистически объективен и аполитичен, как у Золя, или пессимистически мизантропичен, как у Флобера. Вера в лучшие стороны человека и его достоинства, в его возможности, оценочное отношение к социальному «добру» и «злу»,—все эти качества, почти утерянные литературой буржуазного Запада той поры, французская литература в изобилии нашла в русской. Русские реалисты, к тому же, с точки зрения строгости и чистоты реалистического метода, удовлетворяли самым максимальным требованиям. «Русское движение» 80-х годов во Франции навсегда останется превосходным выразителем того момента в истории французской культуры, когда она, потеряв былую силу своих общественных идеалов, в лучших своих представителях не смогла примириться со скудостью буржуазных перспектив и в поисках выхода «открыла» великую русскую литературу и, обильно черпая из ее богатых источников, нашла в ней опору для нового гуманизма.

В политических взаимоотношениях России и Франции период 90-х годов, вплоть до империалистической войны 1914 г., проходит под знаком франко-русского союза 1891 г. Французская буржуазия, заключая союз с русским царем, надеялась использовать Россию, как «отсталую» страну: во-первых, как неисчерпаемый источник живой военной силы русских солдат, которыми царь мог располагать по своему произволу в интересах своих политических союзников; во-вторых, как огромную экономически еще не развитую страну, в которую можно было помещать капитал на условиях, давно невозможных на Западе. Франко-русский союз был союзом царского самодержавия и тех помещиков и октябристско-черносотенных капиталистов, которых оно возглавляло, с французской реакционной и империалистической буржуазией не только против германского империализма, но и против русского народа. Именно парижская биржа в 1906 г. своей финансовой поддержкой помогла царизму подавить первую русскую революцию. Создавшемуся отношению между господствующими классами России и Франции не способствовали культурному сближению демократии этих стран. Отношение революционной пролетарской России к буржуазно-банкирской Франции, естественно, доходило до глубокой вражды и классовой ненависти, с большой силой сказавшейся в известном памфлете Максима Горького «Прекрасная Франция».

В культурном общении России и Франции кануна империалистической войны передовой стороной выступает Россия. Творчество Толстого и Горького продолжает вливать свежую и живую струю во французскую демократическую и гуманистическую литературу и способствует ее оживлению. И величайший ее представитель, Ромэн Роллан, наряду с другими лучшими традициями мирового гуманизма, продолжает глубоко воспринимать в себя гуманизм русских классиков. Описывая позднее обстановку, в которой создавалась эпопея «Жан-Кристофа», Ромэн Роллан вспоминал, что на его рабочем столе была одна только фотография. Она изображала «двух далеких спутников»—Толстого и Горького, снятых рядом в парке Ясной Поляны. «Часть „Жан-Кристофа“ была написана под их взглядами»,—добавляет Ромэн Роллан. Франция же, по ряду исторических причин остающаяся столицей международного искусства, в это время выступает, как учительница русских декадентов.

В Россию «новое искусство» стало вливаться широким потоком, начиная с последнего десятилетия XIX в. После 1905 г. русская литература, за вычетом пролетарской литературы во главе с Горьким, начинает принимать в воинствующих своих направлениях все более декадентский характер. Французская струя в русском декадентстве очень значительна. Русский символизм, правда, имел достаточно прочные корни в собственной литературной традиции—в Достоевском, Тютчеве, Вл. Соловьеве, и наиболее сильные и оригинальные его явления, в первую очередь Блок, свободны от следов французских влияний. Но в общем фоне того движения, центром которого был символизм, французские влияния играют выдающуюся роль. Главными проводниками французского влияния среди символистов были Брюсов и Волошин. Целиком пропитана культурой французского декаданса поэзия Иннокентия Анненского. Бодлэр, Верлэн, Метерлинк, Барбэ д'Орвилли, Вилье де Лиль Адан переводились, пропагандировались, им подражали<sup>145</sup>. Однако, в русском интересе к декадентской Франции есть своеобразные моменты, говорящие о невозможности отождествления русского и французского декадентства. Особенно

это относится к Брюсову. Характерно, что он особенно выдвигает такого писателя, как создатель «научной поэзии» Рене Гиль,—совершенно непризнанного и неизвестного у себя на родине. Гиль, благодаря Брюсову, поручившему ему французскую хронику в «Весах», становится для русской эстетской публики ее главным путеводителем по французской литературе. С другой стороны, характерен особый интерес к Верхарну—поэту лично близкому символистам, но, по существу, чуждому им. Русские символисты, конечно, всячески подчеркивают символистские элементы в поэзии Верхарна, но их влечение к нему все же отражает тот факт, что в России даже буржуазные эстеты не могли полностью отделиться от проблем назревавшей революции. Бельгиец Верхарн как бы связывал русских символистов с революцией. И недаром в первые годы после Октября он оказывал заметное влияние на молодых пролетарских поэтов, а А. В. Луначарский призывал учиться у него.

Русский футуризм имел мало общего с родоначальником направления—итальянским футуризмом, но связь его с французским кубизмом была очень тесна. Французский кубизм тоже имел свою поэзию, свою литературу, но на русских кубофутуристов влияли не столько поэты-кубисты, вроде Гийома Апполинэра, а непосредственно живопись кубизма. Проводником этих французских влияний в русском футуризме был Давид Бурлюк. Но в русском футуризме была и другая, более демократическая, более сильная и более национальная сторона, шедшая еще от анархистского бунтарства, связанная с нарастанием революции. Выразителем этой стороны русского футуризма был молодой Маяковский, впоследствии выросший в «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи» (Сталин).

Великая Октябрьская Социалистическая революция, открывшая новый всемирно-исторический этап, открыла, вместе с тем, и новую главу в истории русско-французских, теперь уже советско-французских, культурных взаимоотношений, в корне отличную от всех прежних.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах. Изд. «Художественная Литература», М., 1936, VI, 230. В дальнейшем все ссылки на Пушкина даются по этому изданию, обозначенному сокращенно.

<sup>2</sup> Определяя причины всевропейского господства французской литературы в XVII—XVIII вв. и указывая на придворно-монархический характер литературы «великой эпохи», Пушкин писал: «Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая и немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворян Европы».—Пушкин, VI, 234—235.

<sup>3</sup> Ленин, Сочинения, 3-е изд., XXII, 517.

<sup>4</sup> О Фенелоне и других утопистах в русской литературе XVIII в. см.: Н. Чечулин, Русский социальный роман XVIII века, 2-е изд., СПб. 1900; Б. Святловский, Русский утопический роман, П., 1922; ак. А. С. Орлов, «Тилемахида» В. К. Тредиаковского.—Сборн. «XVIII век» Института литературы АН СССР, Л., 1935, 5—55. Из более ранних проникновений французской литературы в Россию нужно указать на ряд средневековых французских песен, поэм и романов, дошедших до Московской Руси сложным путем и живших здесь, в сильно измененном, разумеется, виде, еще в конце XVII в. «Именно в Восточной Европе закончила свой славный путь старинная французская эпическая литература»,—пишет А. Rambaud, указывая, при этом, на особую долговечность поэмы об одном из героев Каролингского цикла—*Вие ве Нантопе*, получившей у нас известность под именем сказки о Бове-королевиче (A. Rambaud, *La Russie épique*, P., 1876, 433). Современный исследователь J. Patouillet, в свою очередь, констатирует: «Сказка о Бове остается единственным

живым свидетельством французской средневековой поэзии в современной России» (Ю. П а т у й е, Мольер в России, П., 1924, 9).

<sup>5</sup> «Записки гр. Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785—1789», СПб. 1865, 32.

<sup>6</sup> Перевод Кантемира («Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла, парижской академии секретаря»), напечатанный в 1740 г., подвергся нападкам духовенства, а позднее, в 1757 г., по докладу Синода, был конфискован. Предприятие Кантемира было тем смелее, что сам Фонтенель задался целью доказать своим «Разговором», что французский язык способен передавать все научные понятия и может полностью заменить латинский, как язык науки. Кантемир своим переводом старался доказать ту же истину в отношении русского языка. И хотя ему удалось ввести в свою родную речь ряд удачных, привившихся к ней слов, как, напр., «центр», «понятие», «средоточие» и др., попытка эта была преждевременной. Но, как первый опыт в развитии русской философско-научной прозы, перевод Кантемира заслуживает большого внимания.

<sup>7</sup> Как об этом, по крайней мере, свидетельствуют два недавно опубликованных французских стихотворения русского сатирика. См. G. L o s i n s k i, *Cantemir poète français*.—«Revue des études slaves», V, t. 3—4, P., 1925.

<sup>8</sup> П л е х а н о в, Сочинения, М.—Л., ГИЗ, 1925, XXI, 80.

<sup>9</sup> П у ш к и н, VI, 171.

<sup>10</sup> П л е х а н о в, Сочинения, XXI, 211, 213. О роли и значении французских влияний в творчестве Кантемира см. Т. М. Г л а г о л е в а, К литературной истории сатир кн. А. Д. Кантемира. Влияние Буало и Лабрюйера.—«Известия Отд. русск. яз. и словесн. Акад. наук», 1913, XVIII, кн. 2, 143—187.

<sup>11</sup> Н. Г о л и ц ы н, И. И. Шувалов и его иностранные корреспонденты — см. в настоящей книге ниже, стр. 259—342.

<sup>12</sup> Критику этого мнения см. в статье Г. А. Г у к о в с к о г о, За изучение восемнадцатого века.—«Литературное Наследство», кн. 9—10, М., 1933, 295—326.

<sup>13</sup> С. Б о н д и, Третьяковский, Ломоносов, Сумароков, вступительная статья в выпуске «Библиотеки поэта», посвященном Третьяковскому, М.—Л., 1935, 19.

<sup>14</sup> Н. С м и р н о в, Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху.—«Сб. Отд. русск. яз. и словесн. Акад. наук», т. 88, 1910, 1—398.

<sup>15</sup> В заметке «О нынешнем состоянии словесных наук в России» Ломоносов, в качестве примера того, «коль полезно человеческому обществу в словесных науках упражнение», ставит именно Францию и работу французских писателей над языком. См. Л о м о н о с о в, Стихотворения, в серии «Библиотека поэта», М.—Л., 1935, 307.

<sup>16</sup> О судьбе Р а с и н а в русской литературе XVIII в. см.: Gr. G u k o v s k i y, *Racine en Russie au XVIIIe siècle; les critiques et les traducteurs; les imitateurs*.—«Revue des études slaves», 1927, t. VII, 75—93, 241—260.

<sup>17</sup> О судьбе М о л ь е р а в русской литературе XVIII в. см.: П. И. Р у л и н, Русские переводы Мольера в XVIII веке.—«Изв. Отд. русск. яз. и словесн. Акад. наук СССР», Л., 1928, I, 221—244; Юлий П а т у й е, Мольер в России, пер. с франц. К. Памфиловой, под ред. Г. Лозинкова, изд. «Петрополис», Берлин, 1924 (приведена литература); A s c h k i n a z i, *Les influences françaises en Russie. Molière, ses traductions, ses critiques et ses interprètes en Russie. Bibliographie rétrospective*.—«Livres», 1884, XI.

<sup>18</sup> «Русская Старина», 1878, IX, 121.

<sup>19</sup> О русском вольтерьянстве см.: К. Н. Б е р к о в а, Вольтерьянство в России.— В книге «Вольтер», М.—Л., Соэкгиз, 1931, 207—219; И. Н а у м о в, Вольтерьянство русских писателей екатерининского времени, СПб. 1876; В. В. С и п о в с к и й, Из истории русской мысли XVIII—XIX ст. (Русское вольтерьянство).—«Голос Минувшего», 1914, I, 105—131; Д. Д. Я з ы к о в, Вольтер в русской литературе.—Сб. «Под знаменем науки», М., 1902, 696—714.

<sup>20</sup> См. J. P a t o u i l l e t, Un épisode de l'histoire littéraire de la Russie: la lettre de Voltaire à Soumarokov (26 février 1769).—«Revue de litt. comparée», 1927, V, 438—458.

<sup>21</sup> Д. А. Голицыну удалось осуществить (в 1772 г. в Гааге) издание знаменитого посмертного труда Гельвеция «De l'Homme», который не мог быть напечатан в самой Франции, и тем принести посильную помощь работе французских просветителей. Находясь под их воздействием, Голицын и сам написал ряд сочинений, например, «В защиту Бюффона» («Défense de Buffon», 1793), «О духе экономистов» («De l'esprit des économistes») и др., но эти труды всемогущего «материалиста-гельвецианца» серьезно самостоятельного значения не имели и интересны сейчас лишь, как свидетельство искреннего его увлечения идеями своих тогдашних учителей. См. А. Р а ч и н с к и й,

Русские ценители Гельвеция в XVIII веке по документам Московского главного архива мин. иностр. дел.—«Русский Вестник», 1876, V.

<sup>22</sup> См. письмо Руссо к Сесиль Гобарт, 1773 г.—«Revue d'histoire littéraire de la France», 1936, avril—juin. В этом письме оскорбленный Руссо пишет о своей «неизменной отныне ненависти к русскому тирану». Ср. также: Д. Ф. Кобекко, Екатерина II и Ж.-Ж. Руссо.—«Исторический Вестник», XII, № 6, 603—617.

<sup>23</sup> В 1782 г. в Москве была издана книга профессора Московского университета Якова Шнейдера, Рассуждения на Монтескиеву книгу Дух Законов. Книга составила из лекций, которые Шнейдер читал «для студентов на латинском, а для дворян на французском языке без платы».

<sup>24</sup> В. И. Семевский, Крестьянский вопрос при Екатерине II.—«Отечественные Записки», 1879, октябрь и ноябрь, 205—207.

<sup>25</sup> Интересные материалы и записи Бернардена де Сен-Пьера, относящиеся к его поездке в Россию, до сих пор остаются неопубликованными полностью. Рукописи их хранятся в составе его архива в библиотеке гор. Гавра (опись этих материалов любезно сообщил нам М. Michel Gorlin).

<sup>26</sup> О французских заимствованиях в комедиях Фонвизина (для «Недоросля», например, такие заимствования установлены из сочинений Лабрюйера, Дюкло, Дюфрени, Вольтера, Ларошфуко и др.) и в его письмах из Франции к П. Панину см.: П. А. Вяземский, Фон-Визин, СПб. 1848; Н. С. Тихонов, Материалы для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина, СПб. 1894; Алексей Веселовский, Западное влияние в новой русской литературе, 5-е изд., М., 1916, 81—85. «Письма» Фонвизина были изданы в 1888 г. по-французски с интересной вводной статьей М. де Вогюэ (Denis Fon Vizine, Lettres de France, P., 1888).

<sup>27</sup> Antoine Thomas (1732—1785)—Фонвизин близко познакомился с ним и перевел его «Похвальное слово Марку-Аврелию».

<sup>28</sup> В примечании к этому абзацу «Жития» Ушакова Радищев сообщает, что «Г. Гримм в бытность свою в Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали Гельвеция.—А. Радичев, Полное собрание сочинений, СПб. 1907, I, 35.

<sup>29</sup> Не вполне правы те исследователи, которые, подчеркивая роль немецкой культуры в мировоззрении Радищева, отодвигают французское просвещение на задний план. Такой взгляд см., напр., в работе проф. Борова, Философия в России, вып. 3-й, Казань, 1900, и в новейшей обстоятельной работе Я. Л. Барскова, А. Н. Радищев. Жизнь и личность («Путешествие...», изд. «Academia», II, 93).

<sup>30</sup> Существует, насколько нам известно, лишь одна специальная работа, посвященная этой теме,—статья А. Я. Кучерова, Французская революция и русская литература XVIII века (в сб. «XVIII век» ИЛИ Академии наук СССР, М.—Л., 1935, 259—307). Но в этой содержательной статье автор, как он сам об этом заявляет, должен был сильно ограничить впервые исследуемую им проблему и «ставил себе задачей только наметить расстановку классовых сил и охарактеризовать первые впечатления от революции и первые отклики на нее в русской литературе». См. также С. Бородин, Галлофобия в нашей литературе прошлого века.—«Наблюдатель», 1887, октябрь, 70—85, и ноябрь, 303—316 (обзор русских сочинений, направленных против Французской революции и материализма XVIII в.).

<sup>31</sup> Николай Тургенев пишет в своей книге «La Russie et les russes» (русск. перев., М., 1915, ч. III, 342): «В молодости Карамзин видел Европу, он прибыл во Францию во время террора [неточно—летом 1789 г.]. Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы...».

<sup>32</sup> Не следует, однако, забывать, что якобинцы имели тогда очень пестрый состав и среди их главных функционеров были даже конституционные монархисты.

<sup>33</sup> «Mémoires, souvenirs et anecdotes par M. le comte de Ségur», édition Barrière, P., 1859, II, 170.

<sup>34</sup> «Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu'à la Révolution Française...». Russie, vol. 2. Avec une introduction et des notes par Alfred Rambaud, P., 1890, 518. В этом издании опубликовано лишь несколько донесений и писем Жене. Большая же их часть остается до сих пор непечатанной. Укажем попутно, что корреспонденция Жене подвергалась в Петербурге перлюстрации, и эти копии перлюстрированных писем, в которых содержится много материалов по вопросу об отзывках Французской революции в русской жизни, сохранились и находятся ныне в ГАФКЭ, в Москве.

<sup>35</sup> Переводим с французского. Эти строки, входившие в «Письма русского путешественника», были изъяты оттуда самим Карамзиным и напечатаны им только по-французски

в статье «Un mot sur la littérature russe», помещенной в 1796 г. в издававшемся в Гамбурге эмигрантском журнале «Le Spectateur du Nord» (octobre, 53—72). На протяжении 90-х годов Карамзин настойчиво возвращается к «ужасным происшествиям Европы». В письме от 17 августа 1793 г. к поэту Дмитриеву он пишет: «Я живу, любезный друг, в деревне, с людьми милыми, с книгами и с природою, но часто бываю очень, очень беспокоен в моем сердце. Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов—но мысль о разрушаемых городах и гибели людей везде теснит мое сердце». («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», под ред. Я. Грота и П. Пекарского, СПб. 1866, 42).

<sup>36</sup> Характерно, например, весьма сочувственное отношение к Руссо такого дворянского идеолога, как Болотов. В одной из своих критических статей 80-х годов он, называя его «славным в свете сочинителем», пишет: «Всему свету известно, кто был Жан-Жак Руссо и сколь много прославился он разными своими сочинениями и, между прочим, самыми романами».—«Литературное Наследство», 1933, № 9—10, 207.

<sup>37</sup> Характерно, что сам Карамзин позднее считал нужным пояснить свой отбор имен, упомянутых в «Поэзии», таким специальным примечанием: «Сочинитель говорит только о тех поэтах, которые наиболее трогали и занимали его душу в то время, как сия пиеса была сочиняема».

<sup>38</sup> Современный исследователь творчества Дмитриева пишет: «В продолжение всей своей литературной деятельности Дмитриев работает, по преимуществу, над переводами или переделками французских стихотворений... Почти все басни и сказки Дмитриева—переводы и переделки. Дмитриев переводил Лафонтена, Флориана и менее известных французских поэтов—Гишара, Легуве и других. Не преувеличивая, можно сказать, что часть басен Дмитриева все еще считается оригинальной лишь потому, что не разысканы оригиналы, с которых они переведены».—А. К у ч е р о в, И. И. Дмитриев, статья в выпуске «Карамзин и поэты его времени» малой серии «Библиотеки поэта», М.—Л., 1936, 162.

<sup>39</sup> О роли французского элемента в языковой работе карамзинистов см. В. В и н о г р а д о в, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1934 (гл. IV: «Процесс образования салонно-дворянских стилей русского литературного языка на русско-французской основе»).

<sup>40</sup> В своих «Записках» Шишков пишет: «Следы языка и духа чудовищной французской революции, доселе нам неизвестные, мало по малу, но прибавляя по часу скорость и успехи свои, начали появляться в наших книгах» («Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», изд. Н. Киселева и Ю. Самарина, Berlin, 1870, I, 303). В своем «Рассуждении» Шишков, борясь с этими словами, приводит пример: «По мнению нынешних писателей, великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово п е р е в о р о т [слово, введенное Карамзиным], не догадаться, что оно означает révolution, или, по крайней мере, révolution».

<sup>41</sup> Между тем, сам Местр искал сближения с кругом Шишкова. Он посещал заседания «Беседы любителей русского слова» и присутствовал, в частности, при знаменитом выступлении Шишкова с речью «О любви к отечеству» («Воспоминания А. С. Сербиничева».—«Русская Старина», 1896, № 9, 575). В то же время Местр изучал и взгляды антагониста Шишкова—Карамзина. В «Quatre chapitres» он цитирует «Письма русского путешественника» для доказательства религиозного вольнодумства русского дворянского общества. О русских отношениях Местра см. в настоящей книге специальную работу М. С т е п а н о в а, Жозеф де Местр в России.

<sup>42</sup> В совершенно иной области нельзя не указать еще на явление, представляющее собой одно из последних проявлений французской эмиграции в России, а именно на распространение в русской дворянской среде ряда предрассудков светской бытовой культуры, свойственных французскому обществу. Именно под воздействием эмигрантов окончательно складываются те понятия дворянской чести, на которых воспитывалось поколение Пушкина, в частности, представление о дуэли, как о палладиуме личной чести дворянина.

<sup>43</sup> Один из основателей Общества, В. Дмитриев, сообщает, например, о своих «занятиях»: «Перевожу поэму о благополучии Гельвеция, как произведение образцовое, как творение, которого цель и все аллегорические картины, мастерскою кистью автор-живописца писанные, имеют предметом своим убеждение людей в истине, что вернейший путь их к достижению возможного на земле благополучия есть: П р о с в е щ е н и е,—что оно есть твердое основание народного благоденствия...». «По окончании поэмы Б л а г о п о л у ч и е,—сообщает далее В. Дмитриев,—выйдет в следующих книгах Ореад анализ сочинений Гельвеция, а по издании оных, если позволят обстоятельства... и полные переводы трактатов его о разуме и человеке».—В. Д м и т р и е в, Ореады, ч. I, СПб. 1809, 122—123. О значении французской просветительной лите-

ратуры и философии для «радищевцев» см. В. Д е с н и ц к и й, Радищевцы в общественности и в литературе начала XIX века, вступит. статья к выпуску «Поэты-радищевцы» большой серии «Библиотеки поэта», 1935, М.—Л., 15—90.

<sup>44</sup> Л е н и н, Сочинения, 3-е изд., XXII, 400.

<sup>45</sup> См. об этом: М. Н. Л о н г и н о в, Заимствования русских баснописцев у французских писателей.—«Русский Архив», 1905, I, 174—176 (перечень заимствований из французских авторов у Кантемира, Княжнина, Хемницера, Нелединского-Мелецкого, В. Л. Пушкина, Измайлова, Жуковского); Алексей В е с е л о в с к и й, Западные влияния в новой русской литературе, М., 1896, гл. IV (заимствования в баснях Крылова); J. F l e u r y, Krylov et ses fables, P., 1869.

<sup>46</sup> «О предисловии Лемонте к переводу саен И. А. Крылова», 1825.

<sup>47</sup> Ю. П а т у й е, Мольер в России, П., 1924, 15. О значении Мольера и французского театра для творчества Грибоедова см. специальное исследование: Н. К. П и к с а н о в, Грибоедов и Мольер. Переоценка традиции, М., 1922.

<sup>48</sup> О роли и значении Французской революции и идей французского просвещения для декабристов см.: М. M i r k i n e - G u e t z e v i t h, L'influence de la Révolution Française sur les décembristes russes.—«Révolution Française», 1926, juillet—septembre; В. И. С е м е в с к и й, Политические и общественные идеи декабристов, СПб. 1909; «Декабрист М. С. Лунин». Сочинения и письма, ред. С. Я. Штрайха, П., 1923; А. Н. Ш., Западно-европейские влияния в мировоззрении Н. И. Тургенева.—«Анналь», 1923, III; Е г о ж е, Декабристы в оценке западно-европейской публицистики.—Сб. «Бунт декабристов», изд. «Былое», 1926; Н. П. П а в л о в - С и л ь в а н с к и й, Пестель перед Верховным уголовным судом, Ростов-на-Дону, 1907; Б. Н. С ы р о м я т н и к о в, Политическая доктрина Пестеля.—«Сборник статей, посвящённых В. О. Ключевскому», М., 1909.

<sup>49</sup> «Записки Александра Ивановича Кюшелева (1812 — 1883 годы)». Berlin, Behr's Verlag, 1884, 13.

<sup>50</sup> О Полевом, «Московском Телеграфе» и романтизме см. В. О р л о в, Николай Полевой—литератор тридцатых годов, вступит. статья к изданию: «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов», под ред. В. Орлова, Л. [1934].

<sup>51</sup> «Méditations» Ламартина были напечатаны по-французски в Петербурге и Москве в том же 1820 г., что и в Париже. О роли Ламартина в русской поэзии 20-х годов см. Н. С у р и н а, Русский Ламартин.—Сб. «Русская поэзия XIX века», под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова, Л., 1929, 299—335. Статья чисто формалистская и вопроса о «русском Ламартине» не разрешает, но содержит интересный фактический материал. Ср. G u i l l e m a i n, Lamartine en Russie.—«Revue de littérature comparée», 1934, IV, 646—660.

<sup>52</sup> Приведя стихотворение Вольтера, Пушкин писал: «Признаемся в *goscso* нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах мы находим более слога, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие — площадным цинизмом или вялой меланхолией».—П у ш к и н, V, 184.

<sup>53</sup> Цитируем по переводу, приведенному во вступительной статье В. Д е с н и ц к о г о («Пушкин и мы») к однотомнику Пушкина под ред. Б. В. Томашевского, Л., 1936; в этой статье дана интересная оценка творчества Пушкина в плане европейской, в частности, французской, культурно-исторической действительности. Литература о Пушкине и французской литературе очень велика. Последний суммирующий очерк на эту тему дан Б. В. Т о м а ш е в с к и м в статье «Пушкин и французская литература», напечатанной во II томе настоящего издания.

<sup>54</sup> Ряд интересных фактических указаний о роли Гюго и Ламартина в поэзии Полежаева содержится в работе Н. К о в а р с к о г о, Полежаев и французская поэзия.—Сб. «Русская поэзия XIX века», под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова, Л., 1929, 142—175. Однако, статья эта, формалистская по своим установкам, решает вопрос о Полежаеве и французской литературе исключительно в плане эволюции жанров, игнорируя социальную сторону вопроса. См. также Е. Б о б р о в, Мелочи из истории русской литературы, вып. II, Варшава, 1907, 4—5 (О Гюго и Полежаеве).

<sup>55</sup> «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», под ред. В. В. Гиппиуса, ИЛИ АН СССР, М.—Л., 1936, 12, 39.

<sup>56</sup> См. его отзыв о Мольере в «Петербургских записках».—Н. В. Г о г о л ь, Сочинения, 10-е изд., V, 313. См. также его впечатления от парижского спектакля памяти Мольера в письме к Прокоповичу от 25 января 1837 г.

<sup>57</sup> О Гоголе и французской литературе см.: Г. Ч у д а к о в, Отношение творчества Н. В. Гоголя к западно-европейским литературам, Киев, 1908 (круг французского чтения Гоголя, сопоставления с Паскалем, Мольером, Лабрюйером, Руссо, Лесажем, Шатобрианом, Мериме, Бальзаком, Матюреном); А. Н а з а р е в с к и й, Гоголь и искусство, Киев, 1910, 27—29 (сопоставление статьи «Об архитектуре нынешнего времени» с архитектурными описаниями в «Соборе парижской богоматери» Гюго); В. В. В и н о г р а д о в, Эволюция русского натурализма, Л., 1929, 153—205 («Романтический натурализм. Жюль Жанен и Гоголь»); Б. Э н г е л ь г а р д т, Комментарий к «Невскому проспекту» в т. III «Полного собрания сочинений Гоголя», изд. Академии наук СССР; В. Д е с н и ц к и й, На литературные темы, кн. 2, Л., 1936, 365—366 (Гоголь и Стендаль); Б. Э й х е н б а у м, Толстой и Поль де Кок, статья в «Западном Сборнике» ИЛИ АН СССР, М.—Л., 1937, 294—296 (Гоголь и Поль де Кок). Ср. еще Raïna T у г а е в а, Nicolas Gogol. Ecrivain et moraliste. Thèse de doctorat... de l'Université de Lyon, Aix, 1901, 70—71 (Гоголь и Шатобриан), 161—162 (Гоголь и Лабрюйер).

<sup>58</sup> В. С. П е ч е р и н, Замогильные записки, изд. «Мир», 1932, 38. Эта книга содержит ряд интересных свидетельств о раннем знакомстве русской интеллигенции с идеями французского утопического социализма и о личных сношениях русских людей с учениками Сен-Симона. Печерин утверждает здесь, что и его уход в католический монастырь был подготовлен религиозными элементами в учениях утопического социализма, и ссылается при этом на Жорж Санд, Пьера Леру и Мишле.

<sup>59</sup> Из стихотворения А. Одоевского «Недвижимы, как мертвые в гробах», печатаемого обычно под произвольным заглавием «При известии о польской революции».

<sup>60</sup> О Лермонтове и французской литературе наиболее полные сводки фактических данных и наблюдений см. в работах: Е. Д у с е с н е, M. J. Lermontov, P., 1913 (русс. перев.: Э. Д ю ш е н, Пoesia Лермонтова в ее отношении к русской и западно-европейской литературам, Казань, 1914); С. И. Р о д з е в и ч, Предшественники Печерина во французской литературе, Киев, 1913 («Рене» Шатобриана, «Адольф» Б. Констана, «Исповедь сына века» А. де Мюссе, «Оберман» Сенанкура). См. по поводу этих книг Б. М. Э й х е н б а у м, К вопросу о «западном влиянии» в творчестве Лермонтова.—«Северные Записки», 1914, № 10—11, 220—225; С. В. Ш у в а л о в, Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии.—Сб. «Венок М. Ю. Лермонтову», М., 1914.

<sup>61</sup> О популярности Барбье в России и его роли в русской поэзии интересный материал собран во вступительной статье М. П. Алексеева к вышедшему под его редакцией изданию: Огюст Б а р б ь е, Ямбы и поэмы, Одесса, 1922, XXV—XL.

Перевод Бенедиктова был настолько резок, что мог появиться лишь в зарубежной печати, в «поэтающей литературе» Огарева. Перевод этот напечатан ныне в составе дневника Тараса Шевченко, переписавшего его во время возвращения из ссылки в 1857 г. См. Т. Ш е в ч е н к о, Дневник, ред. И. Айзенштока, изд. «Пролетарий», 1935, 86—90.

<sup>62</sup> А. И. Г е р ц е н, Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. Лемке, П., 1919, XII, 124—125.

<sup>63</sup> Ibid., 152. Влиянию сен-симонизма на Герцена посвящена V гл. работы П л е х а н о в а, А. И. Герцен и крепостное право.—Соч., XXIII, 283—287. См. также: В. И. С е м е в с к и й, М. Б. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I, 1922, 5—11, и П. Н. С а к у л и н, Русская литература и социализм, 1922, 97—115.

<sup>64</sup> П. Я. Ч а а д а е в, Сочинения и письма, под ред. М. Гершензона. Французский текст—т. I, М., 1913, 162—165; русский перевод—т. II, М., 1914, 178—180. Отношение самого Пушкина к утопическому социализму и к сен-симонизму, в частности, не вполне ясно,—никаких прямых высказываний у Пушкина на эту тему нет. Единственное же место в его сочинениях, которое может быть отнесено к утопическому социализму, свидетельствует об отрицательном и, во всяком случае, глубоко скептическом отношении реалиста Пушкина к подобному рода утопиям. В статье «Александр Радищев» (1836) Пушкин писал: «Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заслонили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что, в свою очередь, они заменятся другими».—Пушкин, V, 266.

<sup>65</sup> Б е л и н с к и й, Письма, СПб. 1914, II, 318; Б е л и н с к и й, Собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, СПб. 1904, VII, 305. Ср. также В. Л. К о м а р о в и ч, Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского.—Сб. «Венок Белинскому», под ред. Н. К. Пиксанова, М., 1924, 263 стр.

<sup>66</sup> Т у р г е н е в, Сочинения, Л., 1933, XII, 270—271.

<sup>67</sup> Достоевский, Дневник писателя за 1876 г., июнь.

<sup>68</sup> А. Скафтымов, Чернышевский и Жорж Санд, в изд. «Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928; В. Каренин, Тургенев и Жорж Санд.—«Тургеневский Сборник», Л., 1921.

<sup>69</sup> Владимир Каренин, Жорж Санд, ее жизнь и произведения, тт. I—II—на русском языке, СПб. 1899—1916, т. III—на французском языке, Париж, 1926. Общих работ на тему «Жорж Санд в России» не существует, если не считать небольших обзорных статей: анонимной—«Жорж Санд и ее влияние на русскую литературу».—«Вестник Иностранной Литературы», 1901, июнь, 306—314, и Н. Крацова в бюллетене «Художественная Литература», М.—Л., 1931, № 8. Подготовленная проф. А. И. Белецким обширная монография на эту тему еще остается в рукописи. Ср. также отзыв С. В. Соловьева об оставшемся ненапечатанным сочинении «Влияние Жорж Санд на русскую литературу».—«Записки Харьковского Университета», 1910, 12, 44—48, и статью E. S é m é n o f f, Influence de G. Sand sur la littérature russe.—«Mercure de France», 1930, XII, 15.

<sup>70</sup> Н. П. Огарев, Собрание стихотворений, М., 1904, II, 417.

<sup>71</sup> П. В. Анненков, Воспоминания, изд. «Academia», Л., 1928, 301—302.

<sup>72</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, Л., 1936, XIV, 161—162.

<sup>73</sup> Ленин, Сочинения, 3-е изд., XV, 465.

<sup>74</sup> Ленин, Сочинения, 3-е изд., XII, 331.

<sup>75</sup> «Русские Пропилеи», под ред. М. Гершензона, III, «И. С. Тургенев», М., 1916, 172.

<sup>76</sup> Интерес Пушкина к Бальзаку нашел некоторое творческое отражение в его прозе («Станционный смотритель»). См. об этом в статье Б. В. Томашевского, Пушкин и французская литература.—II том настоящего издания, 67—69. Об отношении Кюхельбекера к Бальзаку см. статью Ю. Н. Тынянова, Декабрист и Бальзак, в III томе настоящего издания.

<sup>77</sup> Из предисловия Достоевского к русскому переводу «Собора парижской богоматери».—Достоевский, Собр. соч., XIII, М., Госиздат, 1930, 525—527.

<sup>78</sup> Литература о Достоевском и французской литературе довольно значительна, но синтетической работы на эту тему нет. Назовем следующие работы: М. П. Алексеев, О драматическом опытах Достоевского—в сб. «Творчество Достоевского», Одесса, 1921 («Село Степанчиков» и «Тартюф» Мольера); В. Виноградов, Из биографии одного «неистового» произведения. Последний день приговоренного к смерти—в его сб. «Эволюция русского натурализма», Л., 1929, 127—152 (формальное влияние Гюго на творчество Достоевского); Л. Гроссман, Библиотека Достоевского. По неизданным материалам, с приложением каталога, Одесса, 1819, 168 сл. («Великий инквизитор» и поэма Гюго «Le Christ au Vatican», сопоставления с Вольтером, Бальзаком, Жорж Санд); Его же, Путь Достоевского, М., 1928, 81 сл. (Фурье, П. Леру); Его же, Композиция в романе Достоевского—в сб. автора «Поэтика Достоевского», М., 1925, 36—52, 64—115, или «Творчество Достоевского», М., 1928, 36—42 (Д. и французский роман-фельетон: Э. Сю, Б. Сулье, Поль де Кок; Бальзак и Д.); Его же, Последний роман Достоевского—вступ. ст. к «Братьям Карамазовым», М., 1935 («Братья Карамазовы» и параллели со «Спридионом» Жорж Санд и «L'auberge rouge» Бальзака; «Великий инквизитор» и книги: V. Menier, Jésus-Christ devant les conseils de guerre; Th. Dézamy, Le jésuitisme vaincu et anéanti par le socialisme; Cabet, Le vrai christianisme suivant Jésus-Christ); Его же, Деревня Достоевского—вступ. ст. к «Селу Степанчикову», М., 1935, 17—19 (Д. и Мольер); Его же, Бальзак в переводе Достоевского—вступ. ст. к «Евгении Гранде», «Academia», 1935; В. Комарович, Мировая гармония Достоевского.—«Атеней», 1924, I—II, 112—142 («Сон смешного человека» и «Destinée sociale» Консидерана); Его же, Die Urgestalt der Brüder Karasoff, München, Piper-Verlag, 1928, 167—235, 505—506 («Мопра» Жорж Санд, «Les Misérables» Гюго и «Братья Карамазовы» Д.); И. Таль, Достоевский и Флобер.—«Авангард», 1922, II, 43—45; А. Цейтлин, «Преступление и наказание» и «Les Misérables». Социологические параллели.—«Литература и Марксизм», 1928, V, 20—58; Б. Ревзов, К истории замысла «Братьев Карамазовых».—«Звенья», VI, 567—573 (проблема наследственности в «Ругон-Маккарах» и в «Братьях Карамазовых»); А. Вем, En face de la mort. «Le dernier jour d'un condamné» de Victor Hugo et «L'Idiot» de Dostofevski—в сб. «Mélanges P. M. Haškovec», Brno, 1936, 45—64; Его же, Гюго и Достоевский.—«Slavia», 1937, R. XV, s. I, 73—86 (обзор литературы). Dr. Dragutin Petrohask a, F. M. Dostojevski. Studia o sveslavenskom čovjeku, Загреб, 1921, 236 сл. («Les Misérables» и «Преступление и наказание»); Václav Černý, Několik indicí k otázce vlivu Hugova na Dostojevského.—«Kvart», ч. III, 1936, č. I,

48—58 (идейные предпосылки возможности влияния Гюго на Достоевского); A. L e w i n s o n, Dostoevskij et le roman occidental.—«Revue des cours et conférences», 1927, 15—30—II и 15—30—III.

<sup>79</sup> Насколько Достоевский учился до конца у французов, можно судить по следующей записи (неизданной) из черновых тетрадей к «Подростку»:

[1874, июнь—июль.] «Книги в Эмской библиотеке прочитать, если будет время. G. S a n d, Césarine Dietrich.—E r c k m a n n-C h a t r i a n, Histoire d'un homme du peuple.—B e l o t, L'article 47.—G. S a n d, La confession d'une jeune fille.—E r c k m a n n-C h a t r i a n, Waterloo.—A. D u m a s, Affaire Clemenceau.—P r o u d h o n, La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 Décembre.—M u s s e t A l f r e d, La confession d'un enfant du siècle.—F l a u b e r t, Madame Bovary.—O t t a v e F e u i l l e t, Le roman d'un jeune homme pauvre.—B e l o t, Le drame de la rue de la Paix.—Femme de feu.—A l. D u m a s-f i l s, L'homme-femme.—B e l o t, M-lle Giraud ma femme.—NB [Laboulaye] Paris en Amérique.—О романах Зола» (черновая тетрадь «Подростка» № 22, стр. 56, ГАФКЭ.—Сообщил Л. П. Гроссман).

<sup>80</sup> О Толстом и французской литературе см. во II томе настоящего издания суммирующий очерк М. Ч и с т я к о в о й, Лев Толстой и Франция. О Толстом и Руссо см.: Milan J. M a r k o w i t c h, Jean-Jacques Rousseau et Tolstoï, P., Champion, 1928.—«Bibliothèque de la Revue de littérature comparée»; М. Н. Р о з а н о в, Руссо и Толстой.—Отчет о деятельности АН СССР за 1927 г., Общий отчет, Л., 1927. Приложение 1—22; Л. Я к о б с о н, Молодой Л. Толстой, как критик «руссоизма».—«Искусство», 1928, № 3—4, 219—235. О Толстом и Стендале: Л. Г р о с с м а н, Стендаль и Толстой.—В книге «От Пушкина до Блока», М., 1926, 135—170. См. также статью Б. М. Э й х е н б а у м а, Толстой и Поль де Кока.—«Западный Сборник» Инст. литер. Акад. наук СССР, т. I, Л., 1938.

<sup>81</sup> В 1868 г. Тургенев писал: «Как бы то ни было, но несомненно то, что, несмотря на истинно-изумительное обилие продуктов французской беллетристики—спрос на эти продукты у нас в России упал заметно... Не говоря уже о той давно минувшей эпохе, когда не только Буало и Вольтер, но Дюсис и Делиль считались у нас законодателями Парнаса; но куда девалось то время, когда Дюма-сын мог со свойственным ему наивным самообожанием воскликнуть: «Les Russes ne lisent que moi! Cela fait honneur à leur goût: ils me jugent maintenant comme la postérité me jugera dans cinq ou six cents ans!»? Теперь у нас хоть и продолжают читать Дюма, но только в высшем обществе и, разумеется, в оригинале,—а на русский язык его более не переводят; да не только Дюма—Поль де Кока не переводят; Фанни... сама пресловутая Фанни не нашла порядочного издателя».—«Русские Пропилеи», III, И. С. Тургенев, М., 1916, 172.

<sup>82</sup> О Беранже в русской и украинской литературе см. М. П. А л е к с е е в, Беранже и французская поэзия, вступ. статья к изданию «П. Беранже, Вибрані пісні», Харьков—Київ, 1933, 5—78. О русской популярности Беранже в 60-е годы см. также в издании «Поэты «Искры»» («Библиотека поэта»), ред. И. Ямпольского, Л., 1933, 33—34. В рукописи существует подготовленный Н. Д. Э ф р о с к печати подробный аннотированный библиографический указатель «Беранже в русской литературе» (переводы и критическая литература).

<sup>83</sup> П. Д. Б о б о р ы к и н, Столицы мира, М., 1911, 163—164. Об успехе «Отверженных» в России, как и вообще о русской судьбе Гюго, см. во II томе настоящего издания работу М. П. А л е к с е е в а, Виктор Гюго и его русские знакомства.

<sup>84</sup> Об Островском и Мольере см.: J. P a t o u i l l e t, Le théâtre de mœurs russes, des origines à Ostrovski (1672—1850), P., 1912; Н. К а ш и н, Островский и Мольер.—«Slavia», 1926, г. V, I, 107—135; М. К а г а н, «Мещанин в дворянстве» и «Бедность не порок» Островского.—«Филологические Записки», 1914, V—VI, 786—792. О театре Скриба и Сухова-Кобылина см. Л. Г р о с с м а н, Преступление Сухова-Кобылина. Л., «Прибой», 1928, 204—209.

<sup>85</sup> Л е н и н, Сочинения, 3-е изд., XVII, 224.

<sup>86</sup> О роли Прудона в истории русского мелкобуржуазного социализма см. статью Б. И. Г о р е в а под этим названием в журнале «Красная Новь», 1935, № 1. Специально о Л. Н. Толстом и Прудоне см. Б. Э й х е н б а у м, Лев Толстой, кн. 2, Л.—М., 1931, 281—315. Ср. еще Н. М е н д е л ь с о н, Герцен—Прудон—Толстой.—«Литературное Наследство», кн. 15, М., 1934, 282—286.

<sup>87</sup> Активное участие в Коммуне приняли Е. Л. Д м и т р и е в а (Тумановская), близко стоявшая к Марксу и выполнявшая ряд ответственных его поручений в I Интернационале, А. В. К о р в и н-К р у к о в с к а я (Жаклар) и Е. Г. Б а р т е н е в а, оба прошедшие через русскую секцию Интернационала; на парижских баррикадах сражался также С а ж и н; известна, наконец, роль Б а к у н и н а и О з е р о в а в попытках провозгласить Коммуну в Лионе.

<sup>88</sup> Это была пятая глава «Итогов», которую Щедрин вынужден был изъять, по настоянию цензуры, из августовской книжки «Отечественных Записок» за 1871 г. Впервые статья была опубликована по рукописи, но в крайне урезанном виде, В. П. Кранихфельдом в газ. «Киевская Мысль», 1914, № 116. Полный текст статьи напечатан в книге: М. Е. Салтыков-Щедрин, Неизвестные страницы, ред. С. Борщевского, «Academia», 1931, 281—325.

<sup>89</sup> Письма Успенского к жене, в которых содержатся его впечатления от версальского суда над коммунарами, см. в «Русском Богатстве», 1912, кн. 1; см. также его очерки «Большая совесть» («Отеч. Зап.», 1873, кн. 2 и 4) и «Выпрямила» («Русская Мысль», 1885, кн. 5).

<sup>90</sup> В одном из писем к Страхову 1871 г. Достоевский писал: «Взгляните на Париж, на Коммуну. Неужели и вы один из тех, которые говорят, что опять не удалось за недостатком людей, обстоятельств и пр.? Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, что до дела (48 год, 49—теперь)—высказывает унижительное бессилие сказать новое слово—явление не случайное. Они рубят головы. Почему? Единственно потому, что это всего легче. Сказать что-нибудь несравненно труднее. Желание чего-нибудь не есть достижение. Они желают счастья человека и остаются при определениях слова «счастье» Руссо, т. е. на фантазии, не оправданной даже опытом».

<sup>91</sup> П. Лавров, Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма.—«Календарь Народной Воли на 1883 г.», Женева.

<sup>92</sup> Степняк-Кравчинский, Подпольная Россия, 2-е изд., 1906, 10.

<sup>93</sup> В. К. Дебагорий-Мокриевич, Воспоминания, т. I. От бунтарства к анархизму, СПб. 1906, 307—309, ср. также гл. XII и XIII.

<sup>94</sup> Ленин, Сочинения, 3-е изд., X, 238.

<sup>95</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, XIV, Л., 1936, 199. О Щедрине и Франции см. во вступительной статье к этому тому Д. О. Заславского, Международная буржуазия в сатире Щедрина. О щедринской критике французского натурализма см. в работе А. Лаврецкого, Щедрин—литературный критик.—«Литературное Наследство», кн. 11—12, стр. 620—622.

<sup>96</sup> А. Герцен, Полное собрание сочинений, под ред. М. Лемке, П., 1915, V, 334.

<sup>97</sup> Ibid., VI, 431.

<sup>98</sup> Ibid., V, 339. «Попав в придворную среду, Кюстин не покидает ее,—пишет Герцен,—он не выходит из передних и удивляется, что находит в них только лакеев. Он обращается к придворным за сведениями, но те знают, что он писатель, боятся его болтовни и обманывают его. Кюстин негодует; он сердится и во всем обвиняет русский народ».

<sup>99</sup> Леонид Гроссман, Бальзак в России.—См. II том настоящего издания, 315.

<sup>100</sup> Mohrenschildt v. D., Russia in the intellectual Life of Eighteenth Century France. Columbia University Studies in English and Comparative Literature. № 124, New York, 1936. Columbia University Press, X, 325 стр. Возможностью ознакомиться с этой работой я обязан любезности З. А. Венгеровой, приславшей мне книгу. Рецензию на нее см. «Slavische Rundschau», Jahrg. IX (1937), № 6, 408—409.

До XVIII в. упоминания о России во французской художественной литературе относительно редки. Однако, Киевская Русь и монгольское нашествие нашли довольно полное отражение в средневековых chansons de geste. См. об этом Gr. L o z i n s k i j, La Russie dans la littérature française du moyen âge.—«Revue des études slaves», 1929, IX, fas. 1—2, 71—88, и fas. 3—4, 253—269. Автор приходит к выводу, что упоминания Руси встречаются чаще, и они полнее, чем Польши и немецких стран. В XVI—XVII вв. о Московии и москвитях упоминают Раблэ в «Гаргантюа и Пантагрюэле», Монтэнъ в «Опытах», Агриппа д'Обинье в «Трагических песнях» (éd. L. Lalanne, P., 1857, 254), Сирано де Бержерак в «Одураченном педанте», Сорель в романе «La vraie Histoire comique de Francion» (éd. E. Roy, P., 1926, II, 82), Расин в письме к Лафонтену 1661 г.; Раймонд Пуассон в пьесе «Les faux Moscovites», замечательный поэт XVII в. Сент-Аман в ряде своих произведений и ряд других. См. об этом Abel M a n s u y, Le Monde Slave et les classiques français au XVI et XVII ss. P., 1912, 27—42 (Раблэ, Монтэнъ, Расин, Пуассон); V. F o u r n e l, La littérature indépendante et les écrivains oubliés, P., 1862, 119 sq. (Сирано де Бержерак); М. А лексеев, Українські казаки, як их змальовує французький поет XVII в.—«Збірник на пошану ак. Д. Ів. Багалія», изд. Укр. ак. наук, Киев, 1927, 616—624 (о Сент-Амане). Много данных о русско-французских литературных сношениях в XVI в. (по поводу русского путешествия Тевэ) собрано в книге: М. П. Алексеев, Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей, Иркутск, 1932, I, 136—145. См. также L. D e l a v a u d, Les Français dans le Nord. Notes sur les premières rela-

tions de la France avec les royaumes scandinaves et la Russie septentrionale depuis l'antiquité jusqu'à la fin du XVII<sup>e</sup> s. Société Normande de Géographie». — «Bulletin de l'année 1910», XXXI, 245—292, 1911, XXXIII, 31—81, и отдельно, Rouen, 1911.

<sup>101</sup> «Journal de Paris» от 2 января 1824 г. Цитирую по статье: Изучение русской литературы во Франции, в которой дана обширная библиография вопроса французских изучений русской литературы с XVIII по XX вв.—См. в III томе настоящего издания.

<sup>102</sup> О нем см. работу проф. А. М а з о н, Князь Элим—во II томе настоящего издания.

<sup>103</sup> О французских изучениях Пушкина см. М. П. Алексеев, Пушкин на Западе.—«Временник Пушкинской комиссии», вып. 3, М.—Л., 1937, 115.

<sup>104</sup> См. об этом Е. В. Т а р л е, Самодержавие Николая I и французское общественное мнение—в его книге «Запад и Россия», П., 1918. Ср. также М. Фридиев, Франция и Россия в общественном мнении 1842—1847 гг.—«Le Monde slave», 1938, XIV, вып. 10.

<sup>105</sup> M-me de Staël, Dix années d'exil, 246—325. Русские переводы цитат даются по книге П. В. Б е з о б р а з о в а, О сношениях России с Францией, М., 1892, 456—460.

<sup>106</sup> Это письмо, так же как и десять других писем, отправленных Стендалем во Францию из Москвы и Смоленска, были перехвачены русскими войсками и никогда не дошли до своих адресатов. Подлинники писем сохранились и находятся ныне в Гос. архиве внешней политики в Москве. Тексты писем по этим подлинникам опубликованы в издании: Léon Hennet et Emm. Martel, «Lettres interceptées par les russes durant la campagne de 1812. Publiées d'après les pièces communiquées par S. E. Goriaïnow», P., La Sabretache, 1913. Помимо этого, сохранилось еще пять писем Стендаля из России; они опубликованы в его «Correspondance inédite», éd. Calmann-Lévy. В русском переводе несколько отрывков Стендаля, касающихся кампании 1812 г., опубликовано В. Г о р л е н к о.—«Русский Архив», 1891, кн. 8, 490—495 («Москва в первые два дня вступления в нее французов в 1812 г.—Из дневника Стендаля»), и 1892, кн. 10, 234—236 («Заметки Стендаля о походе в Россию в 1812 г.»). См. также сообщение А. Х о м е н т о в с к о й, Стендаль в Москве и Смоленске.—«Русская Старина», 1912, кн. II, 378—390.

<sup>107</sup> О русских знакомствах Стендаля см. Anatole V i n o g r a d o v, Trois rencontres russes de Stendhal, P., 1928 (extrait du «Mercure de France»).

<sup>108</sup> В «Promenades dans Rome» Стендаль упоминает князя Демидова и рассказывает историю изгнания его из Рима папской полицией.

<sup>109</sup> *Перевод*: О русские! Народ, бредущий в тундре снежной,  
В Санкт-Петербурге—раб, раб—в тундре безнадежной;  
Сам полюс для него стал черною тюрьмой!  
Россия и Сибирь,—о царь! тиран кровавый!—  
Два края скорбные чудовищной державы:  
Один—Насилие, Отчаянье—другой!

В. Г ю г о, Избранные произведения, М., 1928, 61.

<sup>110</sup> *Перевод*: «И эти бесстрашные женщины, эти развенчанные царицы с презрением отказываются от жалоб и идут в пустыню, не оборачивая взоров и не проявляя удивления, даже проходя под воротами, за которыми гибнет всякая надежда...»—Alfred de V i g n y, Œuvres complètes. Poèmes. Notes et éclaircissements de F. Baldensperger, P., Copard, 1914, 247. Литературным источником этой французской поэмы о «русских женщинах» послужило известное сочинение Николая Тургенева «La Russie et les russes», появившееся в Париже в апреле 1847 г. (поэма датирована 5 ноября того же года), в котором сообщается, в частности, о судьбе Никиты Муравьева и С. Трубецкого и их жен. Именно это место (т. I, стр. 204 соч. Н. Тургенева) А. де Виньи привел в качестве комментирующего текста к поэме. Судьба декабристов тем более должна была взволновать А. де Виньи, что один из них, С. И. Муравьев-Апостол, был с детства его товарищем по пансиону Нix в Париже. Одновременно там воспитывался и М. И. Муравьев-Апостол.—Ibid., 376—377; ср. «Восстание декабристов», изд. Центрархива, IV, 264.

<sup>111</sup> О русском путешествии Дюма см. в настоящем издании работу С. Н. Д у р ы л и н а, Дюма в России в 1858 г., II, 518—562.

<sup>112</sup> О русских интересах Бальзака и их отражении в его творчестве см. в настоящем издании работу Л. Г р о с с м а н а, Бальзак в России, II, 149—372.

<sup>113</sup> T. G a u t i e r, Voyage en Russie, P., Charpentier, 1867, 66, chap. 17, 267 sqq. См. также ch. 15, 190, ch. 16, 259—262 и др.

<sup>114</sup> Ibid., 71, 137.

<sup>115</sup> См. об этом в статье: А. Некрасов, К вопросу о литературных источниках «Кавказского пленника» Пушкина.—«Сборник статей к 40-летию ученой деятельности ак. А. С. Орлова», Л., 1934, 153—163.

<sup>116</sup> Жюльвекуру принадлежит также антология французских переводов из русских поэтов, в том числе из Пушкина, под названием «La Balalaïka» (1837). В предисловии к одному из романов своей серии «Le faubourg Saint-Germain moscovite» Жюльвекур сообщает, что он предпринял свой большой литературный труд с «единственной мыслью», которая его занимала: «celle de faire connaître à la France la vie d'un pays qu'elle ignore».—«Les russes à Paris», P., Souverain, 1843, 6. См. о нем «Остафьевский Архив», III, 699—700, и «Journal de Victor Balabine...», P., 1914, 82.

<sup>117</sup> E. de Montulé, Voyage en Angleterre et en Russie, P., A. Bertrand, 1825, t. II; A. P. S. e. l. o. t., Six mois en Russie, Bruxelles, 1827; P. de Julvécourt et J. de Saint-Félix, Autour du monde, Hivert, 1834; Marquis de Custine, La Russie en 1839, 3-e éd., P., 1846, 4 vol.; X. M. a. r. m. i. e. r., Souvenirs de voyages et traditions populaires, P., Masagna, 1841; Ег о ж е, Voyageurs nouveaux, P., Bertrand, 1851, I, 161, 239; 265, 303 (о средней России, Кавказе и Сибири); Ег о ж е, Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne, P., Garnier, 1851 (здесь отмечается, между прочим, на стр. 334 «большой успех» «Ревизора»—пьесы «резкой, полной правды и сверкающей остроумием»); Ег о ж е, Du Danube au Caucase, P., Garnier, 1854; Ег о ж е, Au bord de la Néva, P., 1856 (переводы из Лермонтова, Гоголя, статья о нем и др.); сборник переиздан в 1889 г. под названием «Contes russes»; Ег о ж е, Histoires russes, P., 1891. О политических установках Мармье в его книгах о России по поводу «Lettres sur la Russie...» см. Е. В. Тарле, Император Николай I и французское общественное мнение, в сборнике «Запад и Россия. Статьи и документы из истории XVIII—XX вв.», П., 1918, 66—67. О русских интересах Мармье см. R. M. a. r. t. e. l., Xavier Marmier: Un précurseur ignoré des études slaves en France.—«Mélanges», Paul Boyer, P., 1925, 282 sq.

<sup>118</sup> «Les grands romantiques sont restés indifférents à la Russie».—Pierre Jourda, L'exotisme dans la littérature française depuis le romantisme. X. La Russie.—«Revue des cours et conférences», 1937, 15 mai.

<sup>119</sup> G. B. r. a. n. d. e. s., Menschen und Werke. Essays, Frankfurt a. M., 1894, 299; см. также T. r. a. h. a. r. d., Biographie de Mérimée, III, P., 1928. О Пушкине и Мериме существует обширная литература. Ограничимся указанием на последнюю по времени и итоговую в отношении предыдущей литературы статью Henri Mongault, Mérimée et la littérature russe, значительная часть которой посвящена изучению отношений Мериме к Пушкину. Статья помещена в издании «Œuvres complètes de Prosper Mérimée, publiées sous la direction de Pierre Trahard et Edouard Champion. Etudes de littérature russe. Tome premier. Texte établi et annoté avec une introduction par Henri Mongault, P., 1931, pp. VII—CXLI.

<sup>120</sup> «Revue des deux Mondes», 1845, t. XII, I, Décembre, 883—889; статья вошла в «Premiers lundis» Сент-Бёва, т. III, P., 1878, 24. Фактическую сводку материалов об усвоении на французской почве творчества Лермонтова дал André Mazon в обзоре «Лермонтов у французоз», напечатанном в V томе Академического издания «Сочинений Лермонтова», СПб. 1913. Наиболее полный очерк французских изданий Гоголя и литературной судьбы его во Франции дан М. П. Алексеевым к публикации русского перевода статьи Барбэ д'Орвилли о Гоголе, см. «Н. В. Гоголь, Материалы и исследования», под ред. В. В. Гиппиуса, I, М.—Л., 1936, 266—281.

<sup>121</sup> Л е н и н, Сочинения, 3-е изд., XV, 464.

<sup>122</sup> Г е р ц е н, Сочинения, под ред. М. Лемке, V, 390—391.

<sup>123</sup> В 1857 г. Герцен писал Мадзини: «Я никогда не забуду того сердечного участия, с каким вы и другие выдающиеся люди, как Виктор Гюго, Мишле, Прудон, Луи Блан, протянули мне руку в 1855 г. и старались вселить в меня мужество, когда я начинал в Лондоне свой русский журнал «Полярную Звезду».—Герцен, Сочинения, под ред. Лемке, VIII, 409.

<sup>124</sup> «Ваши воспоминания—это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели»,—писал Гюго Герцену 15 июля 1860 г., прочитав присланный ему автором французский перевод «Былого и дум». О Герцене и Гюго см. во II томе настоящего издания работу М. П. Алексеева, Виктор Гюго и его русские знакомства, спец. главу III, 823—837. Для оценки Герцена современной ему французской критикой характерна статья H. D. e. l. a. v. a. u., переводчика на французский язык «Былого и дум», в «L'Athenaeum Français», 18 mars 1854. С тех пор французская критика не переставала интересоваться Герценом. Французскую литературу о нем см. в книге R. L. a. b. r. u., Alexandre Herzen. Essai sur la formation et le développement de ses idées, P., Bossard, 1929.

<sup>125</sup> E. Z. o. l. a., Correspondance. 1872—1902. Notes et commentaires de M. Le Blond. P., s. a., 843. О Тургеневе и Франции существует довольно обширная литература,

освещающая различные стороны его взаимоотношений с французской литературой и его посредническую роль в деле ознакомления французского читателя с русской литературой и обратно. Однако, обобщающей работы на эту тему все еще нет. Основным источником остается работа Е. Halpréine-Kaminsky, Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français, P., 1901. Эта переписка Тургенева с французскими писателями пополнена ныне 60-ю новыми письмами к Флоберу, Э. Гонкуру и М. Дю-Кану, опубликованными проф. А. Mazon и М. Gorlin во II томе настоящего издания. См. также E. Hauman, Ivan Tourguéneff, la vie et l'œuvre, P., 1906. Специально о взаимоотношениях Тургенева и Флобера см. в комментариях М. Клемана к VIII тому Собрания сочинений Флобера под ред. А. В. Луначарского и М. Д. Эйхенгольца, М.—Л., 1938 (ср. в V томе этого издания статью М. Клемана, И. С. Тургенев—переводчик Флобера). О взаимоотношениях Тургенева и Мериме см. в назв. выше статье H. Mongault, Mérimée et la littérature russe, pp. XCV—CXLI, и М. Клеман, И. С. Тургенев и Проспер Мериме—во II томе настоящего издания. Ср. еще Eug. et Marc Séméhoff, Tourguéneff et les Français.—«Grande Revue», 1930, juin.

<sup>126</sup> Однако, произведения Флобера переводились в России давно. Первый перевод «Госпожи Бовари» появился в 1858 г. в «Библиотеке для Чтения» Писемского, который высоко оценил талант Флобера; в 1868 г. был напечатан перевод «Саламбо» в «Отечественных Записках» Некрасова и Щедрина, который относил Флобера, наряду с Жорж Санд и Бальзаком, к числу «сильных» писателей; в «Вестнике Европы» за 1877 г. были напечатаны в переводе Тургенева «Иродиада» и «Легенда о Юлиане-странноприимце». «Бувар и Пекюше» появились в «Новом Обозрении» Урусова, «Искушение св. Антония» — в «Еженедельнике Нового Времени» и т. д.

<sup>127</sup> Статья Золя «Флобер и его сочинения», появившаяся в «Вестнике Европы», впервые вошла в I том его «Парижских писем», СПб. 1878. Обращение Тургенева см. в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1880 г., 948.

<sup>128</sup> Из предисловия к сборнику критических статей «Экспериментальный роман».

<sup>129</sup> Критикуя, в форме замечательной пародии (IV гл. «За рубежом»), концепцию натуралистического романа, как она формулирована в «Парижских письмах», Щедрин делает, однако, оговорку, что «критические этюды» Золя, в отличие от его романов, он не признает «замечательными». За исключением «Nana» и «L'Assomoir», Щедрин ценит романы Золя, намеревался пригласить его к сотрудничеству в «Отечественных Записках» и вел с ним об этом переговоры в Париже.

<sup>130</sup> В заметке «Что привлекало меня в романах Э. Золя» Н. К. Крупская сообщает: «Владимир Ильич ценит романы Золя, как писателя, имевшего мужество в 1897 г. встать на защиту Дрейфуса». («Литературная Газета», 1937, № 52). О Золя и его русских отношениях см. М. Клеман, Эмиль Золя. Сборник статей, Л., 1934.

<sup>131</sup> Ср., например, тургеневское стихотворение в прозе «Нищий» с «Anywhere» Бодлэра. О Тургеневе и новой французской литературе см. Л. Пумпянский, Тургенев и Флобер—вступит. ст. к т. X Сочинений Тургенева, М., 1930, 5—19. См. также С. Родзевич, Тургенев и символизм.—Сб. автора «Тургенев», Киев, 1918 (Вилье де Лиль Адан и Тургенев) и М. Габель, Песнь торжествующей любви (опыт анализа).—Сб. «Творческий путь Тургенева», под ред. Н. Л. Бродского, П., 1923, 202—225 (сопоставление «Песни торжествующей любви» и «Саламбо»).

<sup>132</sup> И. Ясинский, Роман моей жизни, М.—Л., 1926, 134. Об А. И. Урусове, как пропагандисте Флобера, см. в III томе настоящего издания статью З. А. Венгеровой, Парижский архив А. И. Урусова. О П. Я. Якубовиче, как переводчике Бодлэра, см.: Ф. Батюшков, Бодлэр и его русский переводчик П. Я.—«Мир Божий», 1901, кн. 8, отд. II, 11—19; Его же, Еще о Бодлэре и его русском переводчике.—Там же, кн. 10, отд. II, 8—15.

<sup>133</sup> О Чехове и французских натуралистах (Флобер, Золя, Мопассан) см. Л. Гросман, Натурализм Чехова.—Сб. автора «От Пушкина до Блока», М., 1926, 279—328. Ср. также: Библиограф [Н. Н. Бахтин], Иностранные писатели в русской литературе. Гюи де Мопассан.—«Русское Обозрение», 1893, кн. 9, 324 стр., и И. Гливенко, Мопассан и Чехов, сравнительный этюд, Киев, 1904.

<sup>134</sup> Книга эта, впрочем, составила из этюдов, печатавшихся несколько раньше в «Revue des deux Mondes».

<sup>135</sup> J. A. Gobinea, Nouvelles Asiatiques, P., Perrin, 1913, II ss. Гобино—писатель-социолог и дипломат—занимал пост французского посланника в Персии и имел возможность наблюдать русских на Кавказе; позднее, в бытность послом в Швеции, он предпринял пятимесячное путешествие по России и описал его в своих «Souvenirs de voyage» (1872). M-me Henry Gréville — псевдоним писательницы Алисы Дюран (1842—1902), долго жившей в России.

<sup>136</sup> Тургенев переслал точный французский текст этого отзыва Толстому в письме от 12/24 января 1880 г. См. Толстой и Тургенев, Переписка, ред. А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского, изд. Сабашниковых, М., 1928, 93.

<sup>137</sup> Цитируем по переводу, приведенному в книге Л. Гроссмана, Собеседник Толстого Ромэн Роллан и его творчество, М., 1928, 15—16.

<sup>138</sup> Из письма Ромэн Роллана в редакцию «За Рубежом» по поводу 25-летия со дня смерти Толстого.—«За Рубежом», № 32, от 15 ноября 1935 г. О Ромэн Роллане и Толстом см.: P. Birjukow, Romain Rolland et Tolstoï. Liber Amicorum Romain Rolland, 1926, Zürich und Leipzig, Rotapfel-Verlag, 58—66; Леонид Гроссман, Собеседник Толстого Ромэн Роллан и его творчество, М., 1928, «Никитинские Субботники»; М. Алданов, Толстой и Роллан, I, П., 1915.

<sup>139</sup> См. P. Clagac, Un chapitre des «Frères Karamazov» et «Les Raisons du Saint-Père» de Leconte de Lisle.—«Revue de littérature comparée», 1926, juillet—septembre, 512—517; E. Drougard, Un replique française de la légende du Grand Inquisiteur.—«Revue des études slaves», 1913, 4, 1—2 (О Вилье де Лиль Адане). Ср. также М. Волошин, Апофеоз мечты. Трагедия Вилье де Лиль Адана «Аксель» и трагедия его собственной жизни.—Сб. автора «Лики Творчества», кн. I, СПб. 1914, 16 сл. (автор устанавливает «головкружительное сходство с «Великим инквизитором», но не ставит вопроса о влиянии Достоевского).

<sup>140</sup> В романе «L'Entrepreneur d'illuminations» Андре Сальмон создает психологический тип следователя Раважо в несомненной связи с образом Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», он включает в сборник «Feeries» стихотворение «Успение Спиридона Спиридоновича Мармеладова», вводит «Федора Михайловича» и его героев в философские беседы, которые ведутся между автором и одним из персонажей в романе «Une orgie à St.-Petersbourg», широко обращается к образам, мыслям и художественным приемам русского романиста и в ряде других своих произведений. См. русский перевод романа: А. Сальмон, Устроитель иллюминаций, пер. Т. Ириновой, ред. и послесловие М. Эйхенгольца, М.—Л., 1927, 326.

Литература о Достоевском во Франции, а также библиографические перечни переводов Достоевского на французский язык указаны в прим. 152—153 к работе: Изучение русской литературы во Франции, помещенной в III томе настоящего издания.

<sup>141</sup> Библиографию переводов Щедрина на французский язык и примеры политического использования его сатиры в применении к французской действительности см. в моем обзоре «Щедрин в иностранной литературе».—«Литературное Наследство», М., 1934, кн. 13—14, 676 и 692—694.

<sup>142</sup> Э. Золя, Парижские письма. XIII. Три страницы из истории современного театра и литературы.—«Вестник Европы», 1876, апрель, 882—883. Золя дал здесь подробный разбор и резкую критику «Данишевых» на фоне противопоставления этого «лубочного псевдо-русского быта» творчеству Тургенева.

<sup>143</sup> См. его статью «De l'influence récente des littératures du Nord» в «Revue des deux Mondes», 1894, 15 décembre.

<sup>144</sup> «Revue des cours et conférences», 26-e année, 2-e série, P., 1924/1925, 740.

<sup>145</sup> О французских влияниях в поэзии символистов см.: Н. К. Михайловский, Русское отражение французского символизма.—«Русское Богатство», 1893, кн. 2, 45—68. Ср. также A. Lirondelle, La poésie de l'art pour l'art en Russie et sa destinée.—«Revue des études slaves», 1922, I, 1—2.